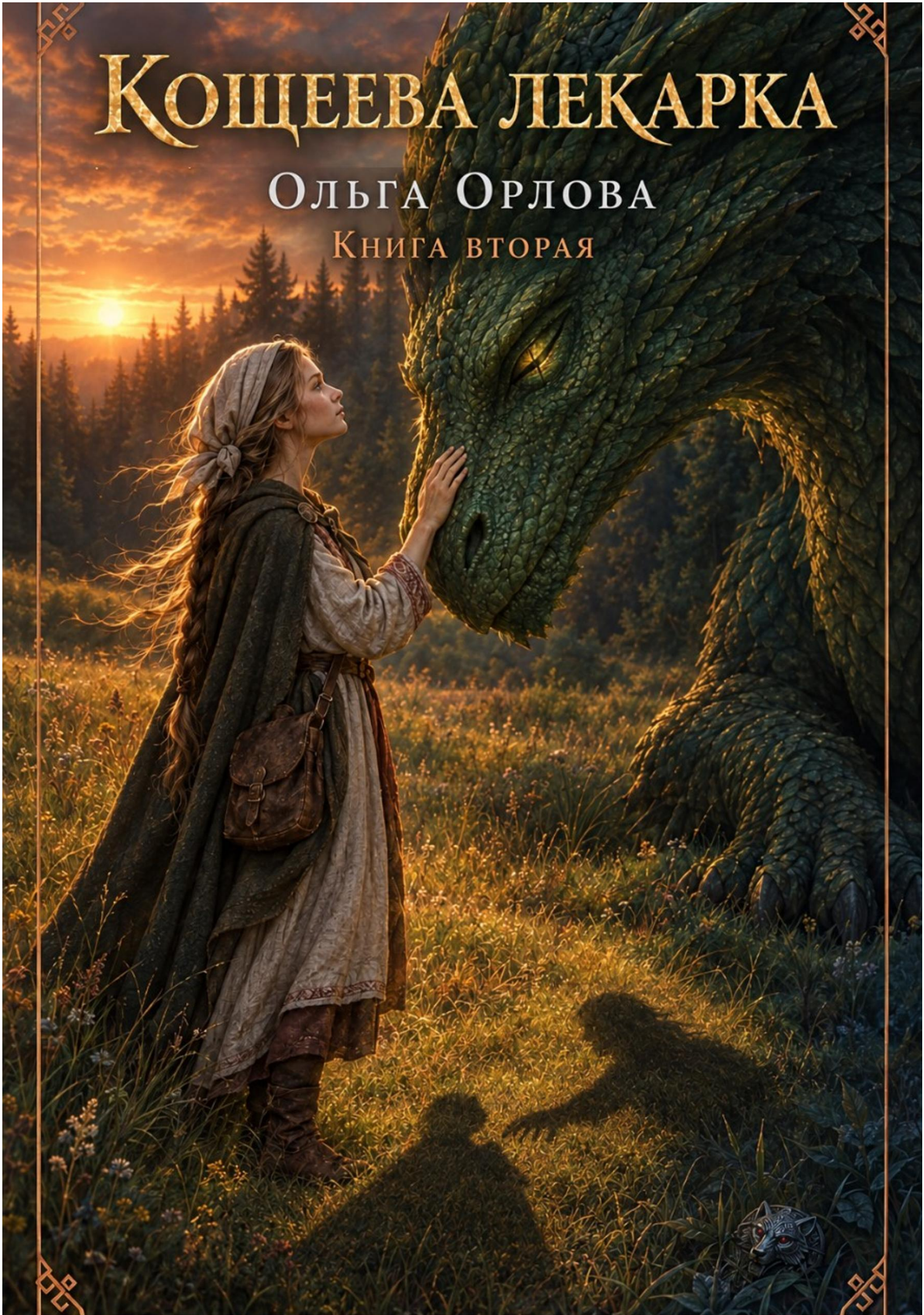

Кощеева лекарка
Ольга Орлова
Книга вторая

Ольга Орлова

Кощеева лекарка. Книга вторая

«Автор»
2026

Орлова О.

Кощеева лекарка. Книга вторая / О. Орлова — «Автор», 2026

Меня отдали Кощею в дань. Потом он меня отпустил. Потом от меня отрёкся отец.Теперь у меня нет дома, нет рода и нет фамилии. Есть прозвище, которое дают люди на дорогах: Кощеева лекарка.Я не Кощеева. Кощей вычеркнул моё имя из грамоты одной ровной чертой и даже не вышел меня проводить.Со мной зелёный дракон. Он прилетел без зова и не улетает. Он греет меня крылом, носит через реки и сторожит мой сон. А ещё злится, когда я лечу тех, кого лечить опасно, и рычит на каждого, кто смотрит на меня дольше, чем нужно.Ему я рассказываю всё. Про дом. Про страх. Про человека в чёрном, чьи руки до сих пор мне снятся.Дракон слушает. Драконы ведь не умеют говорить.По нашему следу идут чудовища, и у них человеческие глаза.А я ещё не знаю, что всё это время рассказывала не тому, кому думала. Или как раз тому.

© Орлова О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Шрам 7
Глава 2. Две недели 14
Глава 3. Записка 21
Глава 4. Отречение 30
Глава 5. Горе 37
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Ольга Орлова
Кощеева лекарка. Книга вторая

Пролог

Про Кощея в этих краях рассказывают сказки, обо мне — нет, и я не в обиде. Сказку, как худую лодку, всякий конопатит на свой лад, пока от неё не останется одна смола да враньё, а человеку, который ходит по чужим дорогам за тайнами, лучше, чтобы имя его путали, а лицо забывали к вечеру того же дня.

Ельник на краю поляны сырой, как погреб. Колени мои помнят больше зим, чем мне хотелось бы признавать, и ноют с рассвета — тупо, обиженно, будто старые псы, которых не пустили к огню. Я терплю. Терпением я богат без меры, всё остальное приходится добывать.

Клевер ещё не зацвёл, только набирает бутоны, а пахнет уже так, что запах доходит сюда, в хвою, — медовый, тёплый, почти неприличный для такого раннего часа. От него щемит где-то под ключицей, как от песни в чужом дворе, которую ты, оказывается, знал мальчишкой и забыл.

Девица пришла раньше зверя. Легла в клевер навзничь, руки за голову, сумку бросила рядом и смотрит в небо, где ползёт ястреб, — так глядят дети, которым некуда спешить. Вчера на торгу в Заречье я стоял через два ряда от неё, нюхал зверобой у какой-то знахарки, торговался из одной вежливости и скользнул по ней взглядом, как по изгороди. Я её не узнал. Признаюсь в этом с горечью человека, который всю жизнь гордился памятью на лица: платок, узел под подбородком, пальцы в травяной зелени — таких у любого колодца дюжина, и та, что в Ольховке назвала мне вместо тайны бессмертия пригорелую кашу, ничем среди них не выделялась.

А потом сел зверь.

Без зова — я слышал, как она охнула: «Я не звала!» — и в этом оханье не было страха, одна только радость, сердитая и детская, какой радуются псу, когда его гнали со двора, а он всё равно добежал следом до самой околицы.

Я видел этого зверя в бою. Видел, как он сметал хвостом факелы, как ревел, когда копьё с моего самострела вошло ему в плечо, и как люди мои, крепкие и вовсе не трусы, бежали от него через бурелом, теряя сапоги. Теперь он опускает голову к самой траве, и она кладёт ладонь ему на морду, между ноздрями, — так гладят жеребёнка, которого сами принимали в ночь.

Она обходит его и трогает шрам у основания крыла. Пальцы у неё медленные, словно она читает чешую, как слепая — лицо. Зверь вздыхает в землю, тяжело и протяжно, и не от боли. Не знаю, отчего так вздыхают звери. Люди так вздыхают, когда их наконец трогают там, где давно болит, а пожаловаться было некому.

Потом она солит хлеб — щедро, вдвое — и даёт ему с ладони. И он, спаливший мне за одну ночь три самострела и половину отряда, берёт горбушку одними губами, бережно, и лижет ей руку от запястья до кончиков пальцев, неторопливо, будто впереди у него вся жизнь, а у неё — ничего, кроме этой ладони.

Я отворачиваюсь. Мне доводилось видеть, как целуют стремя и край ризы, как жёны гладят мужьям виски, а матери — сыновьям горячие лбы. Меня последней так трогала мать, и было это так давно, что лица её я не помню, только запах рукава: дым и сушёная мята. Глупость. Старики к весне делаются чувствительны, как мухи к оконному стеклу.

Когда я поворачиваюсь снова, она уже спит в клевере, привалившись к его боку, а он лежит вокруг неё кольцом и держит над ней крыло, как держат полог над колыбелью, чтобы не налетела мошка.

За моей спиной переминается Хальвдан — молодой, усердный и тяжёлый на ногу. Под сапогом у него ломается ветка, сухо и звонко, на весь ельник, как лёд под первым шагом на реке.

Я замираю и жду огня. Так поступил бы любой зверь, да и всякий человек, у которого на коленях спит самое дорогое: вскинулся бы, оскалился, ударил первым. Зверь не шевелится. Только веко над зелёным глазом медленно поднимается — взгляд прямо в ельник, в меня, — и опускается снова.

Он знает, что мы здесь. Знает, сколько нас и где. И решает, что её сон важнее.

Звери хотят, боятся, едят. Выбирают люди, да и то не все и не часто. Холод проходит у меня по спине — приятный, острый, как в юности перед первым замком, который я открыл чужим ключом.

Через неё. Ну конечно, через неё.

Мои псы ждут у ручья, клевер им не по нраву. Им вообще мало что по нраву с тех пор, как я их доделал, и глаза у них стали слишком умные для собак: порой, когда я бросаю им мясо, мне кажется, что они хотят что-то сказать и не помнят как. Сегодня я их не спущу. Хорошее блюдо не подают сырым.

Вечером, на постоялом дворе, где пахнет кислой капустой и мокрой овчиной, я сочиняю письмо князю Владиславу. Учтиво, с поклоном, с отеческим сочувствием — это у меня всегда выходит хорошо, я и сам почти верю каждому слову. Сообщаю, что дочь его жива и здорова, что ночует она на дальней поляне под Кощеевым змеем и что на торгу об этом уже судачат. Последнее пока неправда. К завтрашнему вечеру станет правдой: умею же я делать так, чтобы про меня не рассказывали сказок, — сумею и наоборот.

Запечатываю воском и волчьей головой. Красные камушки в её глазах ловят свечу и подмигивают мне, как старому сообщнику.

Брать её этой ночью я не стал. Пусть сперва у неё отнимется всё, к чему можно вернуться. Тогда она сама пойдёт туда, куда позовут.

Глава 1. Шрам

Просыпаюсь я оттого, что мне в нос лезет божья коровка.

Сначала в нос, потом на губу. Я фыркаю, она снимается, кружит надо мной в зелёной полутьме, как искорка над печной заслонкой, и садится на стену. Стена тёплая, чешуйчатая и дышит.

Вспоминаю я не сразу.

Под крылом сумрачно и душно, как в шалаше, который мы с Ваней строили в детстве из отцовского плаща и двух лавок. Пахнет клевером, нагретым камнем и немного смолой. Щека у меня прилипла к рукаву, а на нём, кажется, мокрое пятно, и про него я думать не стану, никто не видел. Ну, разве только он.

Крыло над головой вздрагивает и медленно поднимается, как ставень. Свет бьёт в глаза — солнце уже не утреннее, а густое, полуденное, и тень от ельника легла на клевер почти до середины поляны.

— Сколько же я спала? — спрашиваю я.

Дракон, разумеется, не отвечает. Он лежит, положив голову на передние лапы, и наблюдает за мной одним глазом. Божья коровка перебралась на его ноздрю и ползёт по самому краю, а он терпит, не шевелится, только у глаза вздрагивает тонкая кожица. Мне становится так смешно, что я снова зарываюсь лицом в рукав.

— Она тебя щекочет, — говорю я в рукав. — Сдуй. Я разрешаю.

Он скашивает на ноздрю глаз, до того серьёзно и сосредоточенно, что получается почти косоглазие. И не дует. Божья коровка добирается до края, раскрывает надкрылья и улетает сама. Только тогда он выдыхает — осторожно, в сторону, так что клевер ложится вбок длинной волной.

Воспитанный. Где ты только набрался.

Сажусь, вытряхиваю из волос травинки, ощупываю голову и понимаю, что платок съехал на затылок, а узел развязался во сне. Синий платок висит на одном конце, как у пьяной бабы после свадьбы. Я снимаю его, встряхиваю, накидываю снова.

Пальцы сами берутся за концы у подбородка и начинают вязать.

Так у нижней ступени он завязывал мне платок, не спросив. Развязал мой узел — кривой, утренний, трижды перевязанный — и завязал свой, тугой и ровный. Пальцы у него были холодные, как всегда, и, затягивая концы, он задел костяшками мне горло, под самой челюстью, там, где бьётся жилка. На миг, не больше. А потом задержал пальцы у щеки — тоже на миг, — и отнял руку, будто обжёгся о край горшка.

Я тогда стояла не дыша. И сейчас, на поляне, посреди белого дня, у меня горят уши, словно кто-то застал меня за чем-то стыдным, хотя я всего лишь вяжу платок.

Узел выходит кривым. Конечно.

Развязываю и вяжу заново. Кривой. Ещё раз — один конец длиннее другого, и торчит, как заячье ухо.

— Ну и не надо, — говорю я узлу.

Дракон поднимает голову и следит за моими руками с неподдельным интересом.

— А ты? — спрашиваю я и подставляю ему подбородок с торчащими концами. — Ты сумеешь? Он же тебя всему, наверное, научил. Мост строить, хлеб есть с солью, божьих коровок не сдувать.

Он медлит. Потом бережно, едва дыша, протягивает ко мне переднюю лапу, выставив один коготь — длинный, гладкий и тёмный. Коготь подцепляет конец платка, тянет, и я ахаю — не от страха, а оттого, что нитка на краю лопается с тонким звоном и уголок повисает бахромой.

Дракон отдёргивает лапу, будто это его порвали.

Я падаю на спину в клевер и хохочу, пока в боку не закалывает. Он смотрит на меня сверху с оскорблённым достоинством, ворчит, как в бочке, и отворачивается к ельнику — показывает затылок, гребень и полное равнодушие к таким глупым девицам.

— Не сердись, — говорю я, отдышавшись. — Лап для этого не придумано. Я не в укор. Просто так.

Он вдруг резко поворачивает голову ко мне. Глаз у него становится круглым, как у совы, которую разбудили днём. Я не понимаю, что такого сказала, и на всякий случай глажу его по морде.

Узел я завязываю, как вышло. Свой.

Шрам на месте. При свете дня он виднее, чем утром: светлая полоса у самого основания крыла, длиной в мою ладонь, с бугристой каймой по краю. Чешуя легла на неё не так, как росла, а чуть вкось, словно её заново укладывали чужие руки.

Я провожу по шраму пальцем. Он шершавый и тёплый, теплее, чем вокруг.

Где же я видела такое? У кого?

Было что-то — дверной косяк, чья-то брань на чужом языке, человек, который оборачивается всем телом, а не одной головой, словно плечо у него не гнётся. Картинка поднимается, как рыба к поверхности, мелькает боком — и уходит в глубину, только круги по воде. Я стою, держа палец на шраме, и жду, когда она всплывёт ещё раз.

Не всплывает.

Дракон тоже стоит, не дышит. Я чувствую, как под моей ладонью замерла его шкура, будто он слушает вместе со мной.

— Что-то знакомое, — говорю я ему. — Ты не знаешь, что?

Он молчит. Конечно, молчит. Только кожа под пальцами мелко вздрагивает.

— Ладно, — говорю я. — Потом вспомню. Бабка Нежда говорила: что само уходит, то и вернётся, если за ним не бегать.

Мы обедаем: я — хлебом и луковицей, он — тем, что я ему отламываю. Он ест удивительно мало для своего роста. Мне всё кажется, что он должен проглотить разом весь каравай, вместе с тряпицей и сумкой, а он берёт по горбушке и каждую держит во рту, будто пробует, не горчит ли.

— Ты хоть охотишься? — спрашиваю я. — Оленей ешь? Кабанов?

Он фыркает с презрением.

— А что же ты ешь?

Он укладывает голову ко мне на колени. Тяжёлую, как бревно, и тёплую, как печной бок. Колени у меня сразу затекают, но я не двигаюсь.

— Ясно, — говорю я, хотя ничего не понятно. — Значит, ничего.

И, раз уж он лежит и никуда не денется, я ему рассказываю.

Про торг в Заречье. Про бабу у телеги с горшками, которая торговалась так, будто от неё зависела судьба трёх волостей. Про пряжку — серебряную волчью голову с красными камушками. Про бородку, подстриженную по нитке. Про то, как он скользнул по мне взглядом и пошёл дальше, к лошадям, к горшкам.

На словах про пряжку дракон поднимает голову с моих колен.

Медленно. Без единого звука. Но внутри него что-то начинает гудеть — низко, глухо, я ощущаю это ладонью, как слышишь сквозь стенку, что в бане затопили печь. А глаз его, зелёный, с вертикальным зрачком, поворачивается к ельнику и смотрит туда, на тёмные стволы, так пристально, что мне делается зябко посреди солнечной поляны.

— Ты что? — шепчу я. — Там кто-то есть?

Он не отвечает. Гудение стихает. Он снова опускает голову мне на колени, только уже не закрывает глаз.

— Он меня не узнал, — говорю я, понизив голос, хотя кому тут слушать, кроме клевера. — Я сидела у плетня, с сумкой, в платке, такая же, как все. Я даже обиделась немножко. Глупо, правда? Человек ищет меня через всё княжество, а я обижаюсь, что он не узнал.

Дракон фыркает. Мне хочется думать, что он со мной согласен.

— Только ты ведь понимаешь, что ему нужна вовсе не я. — Я перебираю пальцами мелкую чешую у него над глазом, она гладкая и прохладная. — Ему нужен ты. И тот, у кого ты живёшь. А я так, ниточка, за которую можно потянуть. Поэтому ты и не должен сюда прилетать. Слышишь? Вдруг он увидит.

Он глядит не моргая.

— Тебе надо домой, — говорю я. — Он тебя хватится.

Дракон закрывает глаз — нарочно, медленно, всем веком, как захлопывают дверь перед носом надоевшего гостя.

— Ещё как хватится, — повторяю я. — Ты думаешь, он не замечает? Он всё замечает. Он замечает, что каша пригорела на донышке, что мышь опять съела угол в тетради, что я переставила солонку на палец левее. Будет бродить по замку, притворяться, что ему всё равно, а сам заглядывать в каждую дверь. А потом сядет у окна в библиотеке и не будет зажигать свечу. Он так делает, когда ему плохо. Ты разве не знаешь?

Глаз приоткрывается. Самую малость, щёлочкой.

— Знаешь, — решаю я. — Ты же там живёшь.

Я замолкаю. Клевер шелестит. Где-то в ельнике стучит дятел — сухо и деловито.

— Слушай, — говорю я. — Раз уж ты полетишь домой, передай ему. Только не всё. Кое-что.

Он поднимает голову и складывает её на лапы передо мной. Слушает, как Прошка сказки, — весь вперёд.

— Скажи, что я дошла. Что Лукерья скрипит, но держит. Что Прошка вырос на полголовы и уронил меня в лужу. — Я загибаю пальцы. — Скажи, что я лечу. Что мама старится, а я хожу по дворам с её сумкой и пока что всё делаю тише, чем она. Скажи, что я не позвала. В ту ночь, когда было страшно. Я держала до самого рассвета. Он ведь просил — не звать. Скажи ему, что я выполнила.

Я сглатываю и смотрю в клевер.

— Скажи, что каша у нас дома не пригорает. Совсем. Ни разу. — Я снова загибаю палец и вижу, что пальцев на руке не хватает, а сказать хочется ещё. — Это плохо, наверное. Я привыкла, что пригорает. Скажи, что…

Дракон не шевелится. Даже не дышит, кажется.

— Нет, — говорю я и разжимаю кулак. — Про это не говори. Про кашу не надо. И про лужу. И про то, что я не позвала, тоже, пожалуй, не надо: он подумает, что я хвастаюсь. Скажи просто, что я жива. Он и так поймёт, что надо.

Дракон долго, тяжело выдыхает мне в подол. От этого выдоха пахнет смолой и чем-то ещё — старой бумагой, как в библиотеке, когда распахнёшь шкаф, где лет сто никто не рылся.

Солнце сползает к ельнику. Мне пора: мама велела к обеду, а обед давно прошёл. Я поднимаюсь, отряхиваю подол, закидываю сумку на плечо.

Зверобоя в ней нет ни травинки.

— Вот, — говорю я. — Что я теперь скажу дома? Пошла за зверобоем, проспала полдня под драконом. Мама обрадуется.

Он тоже поднимается. Неторопливо, со вкусом — сначала передние лапы, потом всё остальное — и встряхивается, так что от него летят сухие травинки и клевер. Потом поворачивается и ложится.

Поперёк тропы.

Тропа у нас одна, через ельник, узкая, по ней едва проходит телега, и теперь от одной еловой стены до другой лежит дракон. Голова в кустах слева, хвост в папоротнике справа, а посередине, на месте тропы, — зелёный бок, вздымающийся мерно и сонно, как живот у отца после пасхального стола.

— Пусти, — говорю я.

Бок вздымается.

— Пусти, пожалуйста. Мне домой.

Он не шевелится, только глаз приоткрыт, и в узкой прорези мне чудится такое ехидство, что я упираю кулаки в бока, как мама, когда Прошка прячет за пазухой пряник.

— Хорошо, — говорю я. — Тогда обойду.

Иду налево, к голове, — она переползает в ту же сторону и ложится на моём пути. Иду направо — хвост вздымается из папоротника и опускается передо мной, толстый, как бревно, и перегораживает дорогу. Я подбираю юбку и перелезаю через хвост, будто это плетень у бани. Хвост приподнимается вместе со мной. Медленно, плавно, без малейшей спешки поднимает меня в воздух на высоту плеча — я хватаюсь за гребень, визжу, болтаю ногами, — подержит немного и опускает обратно, на ту же сторону, откуда я лезла.

На поляну.

Я сижу в клевере и хохочу так, что икаю.

— Бесстыжий, — говорю я, утирая слёзы. — Ты бесстыжий. Тебя кто так воспитал? Он? Не верю. Он бы никогда.

Дракон ворчит. Мне кажется, он тоже смеётся.

Потом я перестаю смеяться. Сажусь поближе к его морде, прямо на тропу, и беру его голову обеими руками, насколько хватает ладоней.

— Послушай, — говорю я тихо. — Мне правда надо. Меня ждут. Если я не приду, Ваня поднимет пол-Заречья с вилами искать меня по оврагам, а мама решит, что меня уволок волк, или Кощей, или кто похуже. Ты же не хочешь, чтобы сюда пришли с вилами?

Глаз глядит на меня в упор.

— Я приду завтра, — говорю я. — Сюда же. С хлебом. С солью. Честное слово.

Он медлит. Потом его ноздри раздуваются, он вдыхает — у меня от этого вдоха шевелятся волосы на висках, — и выдыхает, долго, протяжно, почти со стоном. Встаёт. Отходит с тропы в папоротник, задевая боком ели, и с веток на меня сыплется сухая хвоя.

Я иду по тропе и оглядываюсь. Он стоит в папоротнике и смотрит мне вслед.

— Завтра, — говорю я ему. — Слышишь? И лети домой. Он ждёт.

Он не летит домой.

Я понимаю это, когда выхожу из ельника на луг и на траву передо мной ложится тень — огромная, крылатая, проползает по лугу, по мне, по моей сумке и уплывает вперёд, к реке. Я поднимаю голову. Он идёт высоко, почти под облаками, но крылья у него такие широкие, что тень всё равно получается с хорошую избу.

У реки он садится. За холмом. Плохо садится: холм небольшой, а дракон большой, и над холмом торчит гребень, как забор, а с другой стороны — хвост, которым он помахивает в траве, будто кот, подстерегающий воробья.

Я прохожу мимо холма и делаю вид, что ничего не вижу.

Пастушок Гришка, сопливый, лет семи, гонит по лугу трёх коз и ковыряет в носу. Козы останавливаются, все три разом, и уставляются на холм. Гришка тоже уставляется. Палец его так и остаётся в носу.

— Это валун, — говорю я Гришке, проходя мимо. — Его на Троицу привезли.

— Он шевелится, — говорит Гришка.

— Ветер, — говорю я и иду дальше, не оборачиваясь, а спиной чувствую, как за холмом кто-то очень большой изо всех сил старается не шевелиться.

Гришка гонит коз в другую сторону, гораздо быстрее, чем раньше.

За рекой дракон снова поднимается. Снова тень по лугу, я задираю голову, он садится — теперь за стогом прошлогоднего сена, и стог от этого делается похожим на зелёную гору с ушами.

У поскотины я останавливаюсь и говорю, не оборачиваясь, громко и строго, маминым голосом:

— Дальше — нельзя.

За стогом становится тихо.

— Нельзя, — повторяю я. — Дальше люди. Собаки. Отец. Ступай домой.

Тишина. Потом — тяжёлый вздох, от которого шевелится солома на верхушке стога, и шорох крыльев, и тень, уходящая обратно, к лесу.

Я стою у поскотины, держась за жердь, и смотрю, как он делается всё меньше, пока не превращается в тёмную птицу над ельником, а потом и в точку. Колени у меня мягкие, как будто я весь день носила воду.

Не домой, отмечаю я. К поляне.

— А зверобой где? — спрашивает мама на крыльце.

Я протягиваю ей пучок клевера, который нарвала по дороге, у поскотины, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Клевер без единого цветка, одни листья.

Мама смотрит на клевер, потом на меня. Потом наклоняется и нюхает мой платок, у самого виска, как нюхала в детстве, когда я бегала к Нежде без спроса.

— Смолой пахнешь, — говорит она. — И камнем. Ты где была?

— За ельником.

— На камнях спала?

— На клевере, — говорю я, и это правда.

Мама держит пучок, вертит его в пальцах. Глаза у неё усталые, но острые, как у человека, который тридцать лет разглядывал чужие раны и научился видеть даже ту, что под рубахой.

— Узел, — говорит она вдруг. — Ты опять перевязывала.

— Он не держится.

— Он держится. Ты его не так вяжешь. — Мама протягивает руку к моему подбородку, и я отступаю на полшага, не успев подумать.

Мама опускает руку. Смотрит на неё, потом на меня.

— Иди есть, — говорит она. — Каша в печи.

Каша не пригорела. Ни капельки.

За ужином Прошка не может усидеть на лавке. Он ёрзает, роняет ложку, лезет за ней под стол, вылезает с ложкой и котёнком и наконец выпаливает, не дождавшись, пока отец дочитает молитву:

— Змей летал!

Ваня фыркает в кружку.

— Над ельником, — частит Прошка и сияет. — Зелёный! Огромный, больше бани! Я с крыши видел, я лез за мячом, а он — ш-ш-ш! — крыльями, туда, к реке, и обратно. Он за холм сел, а потом опять. Гришка тоже видел, у него козы с перепугу молоко не дали!

— Это у Гришки козы всегда молоко не дают, — говорит Ваня. — Они у него от рождения малахольные.

— А змей был!

Я опускаю ложку. Не роняю — опускаю, тихо, на край миски, и держу её пальцами, чтобы не звякнула.

Отец отодвигает хлеб.

— Какой змей? — спрашивает он.

— Зелёный! — Прошка раскидывает руки так широко, что задевает Ваню по уху. — Вот такой!

— Зелёный, — повторяет отец. Голос у него ровный, но лоб собрался в одну тяжёлую складку, и я её знаю: так он слушает гонцов. — Над нашим ельником.

— Мало ли что мальчишке привидится, — говорит мама. — Ястреб с крыши кажется больше бани.

— Ястреб не зелёный.

— На солнце всё зелёное, — говорит мама и подвигает к отцу крынку молока, будто этим ставит точку.

Отец молчит. Потом говорит, ни на кого не глядя, в стол:

— Зелёный змей — Кощеев. Все знают. Если он повадился к нашим лесам, это не к добру.

— Может, просто летел мимо, — говорю я. Слова выходят сами, тихо, и я тут же жалею: все поворачиваются ко мне.

— Мимо, — говорит отец. — Может, и мимо. А может, за нами кто-то смотрит. Ты три недели как дома, Василиса. Кощей отпустил — так говоришь ты. Только Кощей просто так никого не отпускает.

— Отпустил, — говорю я. — Он вычеркнул имя. Я же показывала.

— Не показывала, — говорит отец. — Грамоту ты так и не развернула.

Я молчу. Это правда. Грамота лежит в тетради, под подушкой, и я ни разу её не открыла: боюсь, что черта окажется не такой ровной, как я помню.

— Владислав, — тихо говорит мама.

Отец берёт хлеб, ломает пополам, ест. Больше он про змея не говорит.

Зато говорит Прошка — вполголоса, придвинувшись ко мне и дыша луком:

— А ещё вчера дядька чужой у колодца спрашивал, где ты травы берёшь. Пряник мне дал. Говорит, хочу, мол, к княжне за зверобоем, у неё рука лёгкая.

Я перестаю жевать.

— Какой дядька?

— Молодой. Рыжий. Говорит смешно, будто горячую картошку во рту держит. — Прошка показывает, надувая щёку. — Я сказал, что за ельником. Это ж не тайна?

— Нет, — говорю я. — Не тайна.

Пряник Прошка давно съел, а мне так холодно, будто это я его проглотила, а был он изо льда.

Ночью я снова у окна, на сундуке, поджав ноги.

Небо такое же чистое, как вчера, только луна прибыла и стала похожа на надкушенный каравай. Двор спит. Где-то в людской храпит конюх Ермолай — так раскатисто, что вздрагивает пустое ведро у колодца. В бане скребётся мышь.

Мне жарко. Рубаха липнет к спине, хотя ночь прохладная, и я распускаю ворот, и всё равно жарко, словно я весь день стояла у печи, а печь внутри.

Я думаю о картошке во рту. О рыжем дядьке у колодца. О ельнике, на который смотрел дракон, пристально, не мигая, пока внутри у него гудело.

Думаю — а мысли всё равно сползают в другую сторону, как платок с головы во сне.

К нижней ступени. К холодным пальцам у меня под подбородком. К тому, как он развязал мой узел — сначала потянул за один конец, потом за другой, не торопясь, будто распутывал что-то хрупкое, — и как я стояла, задрав подбородок, и глядела мимо его лица, на пуговицу у ворота его кафтана, чёрную, роговую, с крошечной трещиной сбоку. Я до сих пор помню эту трещину. Что он тогда сказал, у меня из головы вылетело, а трещина осталась.

Если бы он не отнял руку от щеки, я бы, наверное, сама к ней прижалась. Как кошка. Без спроса.

Я прикладываю ладони к щекам. Они горячие.

— Это жар, — говорю я вслух, шёпотом. — Весенний. Мама говорит, у девок весной кровь бродит, как квас, надо пить чабрец и ложиться пораньше.

Я не ложусь пораньше. Сижу и гляжу на тёмный зубчатый край ельника, где сейчас, на поляне, на клевере, спит кто-то огромный и тёплый — один, без меня.

Или не спит.

Над лесом, в одном месте, гаснут три звезды и вспыхивают снова, будто их на миг заслонили крылом.

— Спи, бесстыжий, — шепчу я в окно. — Я завтра приду.

И первый раз за три недели засыпаю, не дождавшись рассвета.

Я обещал себе не опекать её. Обещание продержалось до первой канавы, а та попалась сразу за поскотиной: я лежал за стогом и ждал, не обернётся ли она. Она не обернулась. Сказала «нельзя» тем голосом, каким говорят собаке, и я, к своему удивлению, послушался.

Дракону это не понравилось. Мы с ним по-прежнему не договорились, кто из нас кого носит. Он хочет лечь у её ворот и не вставать, и чтобы весь этот двор с вилами, отцами и малахольными козами видел, что она его. Я хочу того же, и оттого мне ещё стыднее.

Она отдала мне хлеб с солью — и сыт я им так, как не бывал золотом. Ей это ничего не стоило: она отломила, не задумываясь, как отламывают воробью. Я теперь знаю, чем живу. Это хуже, чем не знать.

«Скажи ему, что я жива». Я сказал себе. Не знаю, понял ли.

«Лап для этого не придумано», — сказала она, не подозревая, что повторяет мою собственную мысль, ту самую, у меня в голове, утреннюю. На миг мне почудилось, что меня видно насквозь, вместе с чешуёй. Нет. Это просто она. Она всегда говорит то, о чём другие молчат, и не замечает этого, как собственного дыхания.

Рыжего в ельнике зовут Хальвдан. Я знаю его запах — кислая овчина и железо. Второго, старого, — мята, воск и что-то ещё, сладковатое, как гниль под пёстрой корой. Я не стал поворачивать головы: она спала.

Потом я буду об этом жалеть. Знаю. Но тогда — не стал.

Глава 2. Две недели

Мне снится кухня в замке.

Печь, лавка, квашня на столе, и мука везде — на досках, на полу, у меня на локтях. Он стоит рядом, рукава закатаны выше локтя, кафтан висит на крюке для половника, и руки у него в тесте по самые запястья. Тесто липнет, он сердится на него молча, одними бровями, а я смеюсь и подсыпаю муки.

Потом я тоже опускаю руки в квашню — и натыкаюсь на его пальцы.

Во сне это происходит медленно, как в мёде. Его ладонь ложится поверх моей, прямо там, в тёплом, податливом, живом тесте, и накрывает мои костяшки целиком. Ладонь у него холодная, а тесто тёплое, и от этой разницы у меня вдоль спины пробегает дрожь, будто кто-то провёл пёрышком от затылка вниз. Я хочу вытянуть руку и не вытягиваю. Он глядит не на меня, а в квашню, и пальцы его медленно, по одному, просовываются между моими, и тесто выдавливается вверх, как будто ему тоже тесно.

— Мера, — говорит он во сне. — Вы говорили, это не мера.

Я хочу ответить и не могу: в горле сухо, как в печной трубе.

Просыпаюсь я с колотящимся сердцем, мокрая, будто меня окатили из ведра. Рубаха прилипла к спине, одеяло сбито в ноги, а правая рука — та самая — сжата в кулак под подушкой так крепко, что ногти оставили на ладони четыре розовые подковки.

Надо мной стоит мама с лучиной.

— Ты кричала, — говорит она.

— Я? Нет.

— Не кричала, — поправляется мама. — Охала. Как больная.

Она ставит лучину в светец и садится на край постели. Трогает мне лоб тыльной стороной ладони, щёку, шею под ухом, где у меня, я чувствую, всё ещё стучит.

— Горишь, — говорит мама. — Не захворала?

— Нет. Душно просто.

— Окно открыто.

Я молчу. Мама держит руку у меня на шее и слушает жилку, губы у неё беззвучно шевелятся, а мне стыдно так, словно она может нащупать там, под кожей, мой сон, кухню, квашню и чужие пальцы между моими.

— Весенняя кровь, — говорит наконец мама и убирает руку. — Я в твои годы тоже по ночам металась. Заварю тебе чабрец с душицей.

— Не надо.

— Надо. — Она встаёт, поправляет мне одеяло, как маленькой, и вдруг останавливается в дверях. — Василиса. Он тебя там не обижал?

Я сажусь на постели.

Три недели дома, и мама спрашивает об этом впервые. Не за столом, не при отце, а ночью, с лучиной, со спины, будто вопрос сам вылетел, пока она не успела его поймать.

— Нет, — говорю я. — Он солонку ставил на край стола. Чтобы мне не тянуться.

Мама оглядывается на меня. Я вижу, что она не понимает. Совсем. Солонка, край стола — что за ответ, когда спрашивают про Кощея.

— Ну и хорошо, — говорит она тихо. — Спи.

Чабрец она всё-таки приносит. Я пью его, горький, с душицей, и думаю, что раньше рассказала бы маме всё: кухню, тесто, пальцы. А теперь у меня нет для этого слов. У мамы есть слова для нарыва, для вывиха, для родов, для горячки. Для этого — нет. У меня тоже.

На поляну я хожу каждый день.

Говорю — за зверобоем, за подорожником, за пастушьей сумкой, — и приношу их домой, честно, полную сумку: собираю на обратном пути, бегом, по краям оврага, лишь бы не с пустыми руками. Мама разбирает травы на столе и хмыкает. Подорожник у меня выходит какой-то мятый, будто на нём лежали.

Дракон ждёт меня с утра. Каждый раз я выхожу из ельника — и сердце у меня проваливается: а если улетел? Послушался, вернулся домой, как я велела? А он лежит посреди клевера, мордой к тропе, и, завидев меня, вскидывает голову так резко, что с гребня осыпается роса.

— Ты что, всю ночь тут? — спрашиваю я каждый раз.

Он делает вид, что нет.

Я плету ему венок из клевера. Клевер к этим дням уже цветёт, и венок получается розово-белый, пышный, как у невесты. Надеваю ему на рог над глазом. Дракон замирает, скашивает глаз вверх, на венок, — и лежит так, гордо, неподвижно, будто ему на голову надели княжескую шапку. Потом встряхивается, и венок улетает в кусты.

— Неблагодарный, — говорю я.

Он идёт к кустам, долго, осторожно, губами, выуживает венок из шиповника и кладёт к моим ногам. Немного помятый.

Я надеваю его себе.

Мы учимся разговаривать. То есть я разговариваю, а он учится отвечать. Фыркнуть — это «нет». Прикрыть глаз — «надоела». Положить голову мне на колени — «ещё». Ворчание в бочке — смех; я в этом уверена, хотя проверить не могу. А если он вдруг вскидывает голову и смотрит в ельник, не мигая, а внутри у него начинает гудеть, — это значит, что мне пора идти, и спорить бесполезно.

Он вскидывает голову всё чаще.

У колодца бабы замолкают, когда я подхожу.

Обычно они не замолкают ни перед кем. Ни при отце, ни перед попом, ни в грозу. Тут — как отрезало. Стоят с вёдрами, молчат, глядят в разные стороны, а Матрёна, жена мельника, смотрит прямо на меня и поджимает губы так, что у неё пропадает рот.

Я набираю воду. Журавль скрипит, вода плещет, бабы молчат.

Уже когда я отхожу, за спиной кто-то шепчет, не очень тихо, так, чтобы долетело:

— …змею, говорят, хлеб носит.

— Кощееву?

— А чью ещё. Зелёный. Гришкины козы видели.

— Козы!

— И Гришка видел. И охотник из Ольховки, проезжий, тоже, говорят, видел: спит она под ним, как под периной. Тьфу.

— Да ну. Княжна-то.

— Княжна. Была у Кощея — что с ней там делали, кто знает. Порченая вернулась. Вот и бегает.

Я не оборачиваюсь. Иду ровно, вёдра тянут плечи вниз, вода плещет на подол. До ворот рукой подать, а у меня такое чувство, будто я иду через всё Заречье, голая, и каждый плетень смотрит.

Порченая.

Дома я ставлю вёдра в сенях и долго мою руки в кадке, хотя они чистые.

Письмо приходит в среду.

Привозит его не наш гонец — чужой, на сером коне в яблоках, молчаливый, в коротком кафтане. Отдаёт у ворот Ермолаю, кланяется и уезжает, не дожидаясь ни ответа, ни угощения. Ермолай несёт письмо в горницу на вытянутых руках, как горшок с углями.

Я вижу его мельком, когда несу отцу квас. Письмо лежит на столе, развёрнутое, а рядом — сломанная печать, красный воск, и на воске оттиск.

Волчья голова.

У меня в руках дрожит кувшин, и квас плещет на стол, на письмо. Отец отдёргивает лист.

— Осторожнее, — говорит он, не поднимая глаз. И, когда я уже у двери: — Василиса. Сядь.

Я сажусь.

Отец складывает письмо вчетверо, потом ещё раз, пока оно не становится маленьким и толстым, как пирожок. Прячет за пазуху. Молчит, и в горнице становится тесно, как в погребе.

— С сегодняшнего дня за ворота — ни шагу, — говорит он. — Одна — ни шагу. С матерью — можно, по дворам. С Ваней — можно. Одна — нет.

— Отчего?

Отец поднимает на меня глаза. Голубые, как у меня, только сейчас в них пасмурно.

— Я так сказал, — отвечает он. — Этого мало?

Раньше было бы много. Раньше я бы кивнула и пошла, и даже не спросила бы второй раз. Я так и делаю: киваю и иду. Только у двери останавливаюсь, держась за косяк.

— Кто пишет? — спрашиваю я.

— Доброжелатель, — говорит отец, и губы у него кривятся. — Учтивый. С поклоном. Ступай.

Я ухожу. За дверью прислоняюсь к стене и стою так, пока не перестают дрожать колени.

Вечером Ваня сидит на крыльце и строгает палку. Я сажусь рядом. Мы так сидели всё детство — он строгал, я смотрела, а стружки летели мне на подол, и мама ругала нас обоих.

— Отец велел ловчим ельник обложить, — говорит Ваня, не поднимая головы от палки. — Завтра с утра. Змея бить.

Я молчу.

— Ермолай сети чинит, — продолжает Ваня. — Яким рогатину точит. Сосед, Савелий, капкан приволок на медведя, говорит, змею лапу перешибёт. Потеха.

Стружка падает мне на колено. Я снимаю её, верчу в пальцах. Длинная, светлая, завитая в колечко.

— Его не убить рогатиной, — говорю я тихо.

Ваня перестаёт строгать.

— А ты почём знаешь?

— Я у Кощея прожила полгода. Видела.

Ваня откладывает нож. Поворачивается ко мне — и глядит, как в тот день, когда мне было шесть, а я свалилась с яблони и лежала молча, не плача.

— Васёна, — говорит он. — Это ты к нему бегаешь? К змею?

Я молчу. Стружка в моих пальцах разворачивается и снова сворачивается.

— Бабы у колодца языки чешут, — говорит Ваня. — Я одной уже сказал пару слов, так она теперь меня обходит через огороды. Но отец-то письмо получил. Я видел, какое у него лицо было. Как будто ему на похоронах сказали, что покойник не тот.

— Ваня…

— Я не спрашиваю, — говорит он быстро. — Не хочешь — не говори. Я просто… — Он трёт лоб тыльной стороной ладони, и на лбу остаётся светлая полоска от стружки. — Ты после замка другая. Тихая. Ты и раньше была тихая, а теперь — по-другому. Будто слушаешь что-то, чего мы не слышим.

Я смотрю на него. Ваня, который дразнил меня Васёной, ловил мне лягушек, а потом пугал ими. Ваня, который сказал в день моего возвращения, что я красивая, и покраснел, будто это было стыдно.

— Он хороший, — говорю я. — Дракон. Он никому ничего плохого не сделал.

— Ага, — говорит Ваня. — Только козам.

— Козы сами.

Ваня смеётся, коротко, в нос. Потом снова берёт палку.

— Завтра с утра, — повторяет он. — Через ельник, от реки. Ермолай пойдёт первым, он медленный, его слышно за версту. — Ваня подбирает стружку с моего подола и выбрасывает её через перила. — Я тебе ничего не говорил.

— Ничего, — соглашаюсь я.

Мы сидим. Над баней загорается первая звезда. Ваня строгает, и стружки летят мне на подол, и мама из окна кричит, чтобы мы шли ужинать, а не сорили на крыльце, — всё как всегда, только во мне стучит одно: завтра с утра.

Ночью я не сплю. Утром я ухожу огородами, мимо бани, через дыру в плетне, которую Прошка прокопал прошлым летом, чтобы бегать на речку. Дыра узкая, я цепляюсь подолом и рву его, но сейчас мне не до того.

Через ельник я не сворачиваю — пробираюсь в обход, по оврагу, по колено в росе, вся мокрая, с колючками в волосах.

Он лежит на краю поляны, у самых елей.

Я сначала не узнаю его. Он серый.

Не весь — пятнами, как бывает серой вода в луже, когда на неё ляжет пыль. Зелень на боках поблёкла, чешуя потускнела, будто её долго не чистили. Он лежит, уронив морду в траву, и не поднимает её, когда я выхожу из оврага. Только приоткрывает глаз.

Глаз тоже какой-то не тот. Тусклее.

— Ты что? — Я падаю на колени рядом с его мордой. — Ты что это? Ты заболел?

Он выдыхает. Слабо, так что даже клевер не шевелится.

— Ты ел? — Я лезу в сумку, вытаскиваю хлеб, ломаю, солю, сую ему в губы. — На. Ешь. Ешь, пожалуйста.

Он берёт. Медленно. Жуёт, прикрыв глаз. Потом второй кусок — быстрее. Третий. Я ломаю, солю, сую — руки у меня трясутся, соль просыпается в клевер, — а он жадно жуёт, как будто не ел с того дня, когда я была здесь в последний раз.

С того самого дня.

Я замираю с горбушкой в руке.

— Ты без меня не ешь? — спрашиваю я.

Он открывает глаз и смотрит на меня. Не фыркает. Не прикрывает глаз. Просто смотрит, и в глазу у него, прямо в вертикальном зрачке, отражаюсь я — маленькая, растрёпанная, с горбушкой.

Это не «нет». И не «надоела».

— Глупый, — говорю я, и у меня щиплет в носу. — Ты же огромный. Ты должен есть оленей. Коров. Ты должен… я не знаю, что ты должен. Но не так же.

Он опускает голову мне на колени. Ещё.

Я глажу его по морде и чувствую, как под ладонью, медленно, по капле, к чешуе возвращается зелень. Не сразу — пятнышками, как проступает трава сквозь тающий снег. И мне делается так тепло, словно это меня покормили, а не его. Тепло уходит из рук в него и возвращается обратно, и я не знаю, кто из нас кого сейчас греет.

Где-то за ельником, у реки, трубит рог.

Дракон вскидывает голову. Гудение внутри у него поднимается мгновенно, будто кто-то раздул горн.

— Это ловчие, — шепчу я. — Отец послал. Тихо. Тихо, слышишь?

Рог трубит снова, ближе. Слышны голоса, хруст веток, лай. И громче всех — Ермолай: он ругается на корни, на комаров, на Якима и на свою рогатину, которая цепляется за всё подряд.

Дракон приподнимается. Глаз у него становится узким, зрачок — тонким, как нитка, а над губой показывается край зуба.

— Нет, — говорю я и обхватываю его морду обеими руками. — Нет. Ты не будешь. Это наш Ермолай. Он мне в детстве свистульки резал.

Дракон рычит. Тихо, низко, мне в ладони.

— Ляг, — говорю я. — Пожалуйста. Как вчера за холмом. Ты умеешь.

Он смотрит на меня. Мгновение. Другое. Потом ложится — плоско, всем телом в клевер, вытягивает шею вдоль земли, поджимает хвост — и накрывает меня крылом.

Под крылом темно, тесно и жарко. Пахнет смолой. Я лежу, прижавшись щекой к его боку, и слышу, как у него внутри бьётся сердце, — огромное, медленное, тяжёлое, будто кто-то колет дрова в глубоком погребе. А снаружи, сквозь перепонку крыла, просвечивает солнце, и всё вокруг зелёно-золотое, как в бутылке.

Шаги. Хруст. Голоса.

— Тут поляна, — говорит Яким.

— Вижу, что поляна, — ворчит Ермолай. — Клевер. Мокро. Тьфу.

— А это что?

Молчание.

— Холм, — говорит Ермолай.

— Не было тут холма.

— Был.

— Не было, я тут по осени грибы брал.

— Ну так вырос. Грибы растут, и холм вырос. Чего встал? Змея ищи.

— Ермолай Петрович. — Голос у Якима становится тоненький, как у девки. — А холм-то… дышит.

Я зажимаю себе рот ладонью.

Крыло надо мной не шевелится. Сердце под щекой стучит ровно, медленно, только чуть быстрее, чем раньше.

— Земля дышит, — говорит Ермолай. — Весна. Пошли, говорю. Солнце вон где, а мы ещё и до оврага не дошли. Князь велел к обеду.

— А может, рогатиной ткнуть?

— Я тебе ткну. Ты холм рогатиной тычешь, а змей тем временем, может, у князя в бане сидит. Пошли!

Шаги удаляются. Голоса тоже. Рог трубит уже где-то за оврагом, далеко.

И тут — совсем рядом, у самого края крыла, — тоненько, шёпотом:

— Холмик… Ты моргнул?

Прошка.

Я перестаю дышать.

Крыло надо мной тоже не дышит.

Тянется мгновение, длинное, как зимняя ночь. Слышно, как в клевере стрекочет кузнечик и как Прошка сопит носом.

— Прошка! — орёт издалека Ермолай. — Ты где, бесов сын? Отстанешь — волки съедят!

Прошка вздыхает с огромным сожалением и убегает, шлёпая босыми пятками по росе.

Я лежу под крылом и трясусь — от смеха, от страха, не знаю от чего. Дракон приподнимает крыло. Самую малость, щёлочкой. Глаз у него хитрый, весёлый, и зелень в нём вернулась вся, до последней искры.

— Ты моргнул, — шепчу я. — Я видела. Ты ему моргнул.

Он ворчит в бочке. Смеётся.

Потом, когда ловчие уходят совсем далеко и даже рога больше не слышно, мы сидим в клевере. Я — спиной к его боку. Он — свернувшись вокруг.

Солнце перевалило за полдень. Дома меня, наверное, уже хватились. Ваня, наверное, врёт что-то про огород и баню. Мама, наверное, стоит у ворот с рукой у глаз.

А я сижу и думаю.

Домой — нельзя. Вернее, можно, конечно: у меня есть ворота, крыльцо, мама с чабрецом. Только за воротами — ни шагу одной, у колодца молчат, а у отца за пазухой письмо с волчьей головой. И рыжий у колодца спрашивал, где я беру травы. Ольгерд меня не узнал на торгу, но кто-то же написал отцу. Значит, узнал потом. Значит, знает, где я бываю. Значит, дом — это теперь место, где меня будут ждать, и не только мама.

Здесь — нельзя. Сегодня Ермолай, завтра Савелий с медвежьим капканом. А послезавтра, может, тот, кто не перепутает дракона с холмом.

А туда — к нему — не хочу.

Я думаю об этом честно, глядя в клевер. Мост стоит, Лукерья скрипит, ворота, я знаю, не заперты. Можно прийти. Он, наверное, даже не удивится, поставит солонку на край, будто я и не уходила.

Только меня оттуда отпустили. Вычеркнули ровной чертой. Он сам перевязал мне платок и сам сказал: иди. И не вышел проводить. Стоял в тёмном окне библиотеки, я знаю, я чувствовала спиной, — но не вышел. Если бы ему было не всё равно, он пришёл бы сам. А он прислал дракона.

Или дракон сбежал.

Или — не всё равно, но он не умеет приходить. Он умеет только стоять в окне и не зажигать свечу.

Я не знаю, что из этого правда. Я переворачиваю каждую мысль, как оладью на сковородке, и каждая подгорает с одного боку.

— Если вернуться, — говорю я вслух, — я буду опять дань. Пусть он меня отпустил. Пусть он вычеркнул. Всё равно. Я приду, и все будут знать: вернулась. Сама. К Кощею. Как кошка, которую отвезли в мешке за реку, а она к утру уже сидит на крыльце.

Дракон под моей спиной перестаёт дышать.

— Не обижайся, — говорю я. — Это не про тебя. Ты не кошка. Ты прилетел. Это другое.

Я сижу и смотрю, как по краю поляны прыгает трясогузка. Скакнёт, качнёт хвостом, вспорхнёт на кочку. Никуда ей не надо. Нигде её не ждут, и никто за ней не следит. Счастливая.

И вдруг я понимаю.

Это приходит так же, как к маме иногда являлась мысль у постели больного: сразу, целиком, без всяких «может быть». Мама говорила — как будто дверь открывается в стене, где двери не было.

— Мама ходит по дворам, — говорю я медленно. — А я буду ходить по дорогам.

Дракон поднимает голову.

— Слушай. — Я поворачиваюсь к нему, встаю на колени, хватаю его за морду. — Слушай меня. Я лекарка. Я умею. Не так, как мама, — пока не так, — но умею. А где-нибудь в селе за сто вёрст отсюда тоже рожают, и режутся серпом, и горят в горячке, и у них, может, совсем нет лекарки, ни хорошей, ни плохой. Я буду лечить. За хлеб, за ночлег, за что дадут. А ты… — Я перевожу дух. — А ты будешь со мной. Никто не станет на тебя охотиться, если мы нигде не задержимся надолго. Никто не напишет отцу. Никто у колодца не скажет «порченая». Нас просто не будет здесь.

Глаз у дракона раскрывается во всю ширь. И в нём — я вижу, честное слово, — вспыхивает что-то, как угли, если на них дунуть.

— Ты хочешь? — спрашиваю я шёпотом.

Он тычется мордой мне в грудь. Сильно, так что я валюсь в клевер на спину. И лежит, придавив меня тёплой тяжёлой головой, и ворчит без умолку, и не даёт встать.

— Это «да»? — спрашиваю я снизу, задыхаясь от смеха. — Это у тебя «да»? Ты мне раньше не говорил, как у тебя «да».

Он ворчит.

— Ладно, — говорю я в небо. — Значит, да.

Небо надо мной синее, высокое. По нему медленно ползёт ястреб. Я лежу под тяжёлой драконьей головой и думаю, что надо написать маме. Обязательно надо. Чтобы она не стояла у ворот с рукой у глаз.

Только я пока не знаю, какими словами.

Две недели я учился жить её хлебом. Учёба вышла короткой и унизительной.

В первую же ночь, когда она не пришла, дракон взял в лесу косулю. Я не просил — он взял сам, как берут, когда голодны, и я почувствовал вкус тёплой крови прежде, чем успел что-то понять. А потом нас обоих вывернуло на мох. Косуля не шла. Ничто не шло. Он хотел только то, что лежит у неё в сумке, завёрнутое в тряпицу с солью, — и то, что приходит вместе с этим хлебом, из её ладони, тихо, как вода в песок.

Двести лет я брал. Я знал толк в том, как брать, у кого и какой ценой потом расплачиваться. Теперь я жду, когда дадут. Это оказалось труднее, чем всё, чему я учился до сих пор.

«Ты без меня не ешь?» Я мог бы фыркнуть. Это у нас «нет». Я не фыркнул. Солгать ей в лицо оказалось нечем: у драконов нет для этого мышц.

Мальчишка мне понравился. Я моргнул ему не нарочно — так вышло. Зато у Ермолая Петровича большое будущее в дипломатии.

Письмо с волчьей головой. Я знал, что старик напишет её отцу: так поступают все, кто хочет взять, — сперва отнимают у добычи нору. Знал — и ничего не сделал. Драконы не пишут писем, а человеком я к её отцу не пойду. Что бы я ему сказал? «Ваша дочь ни в чём не виновата, это я лежу у неё на коленях»?

Она сказала: «Если вернуться — я буду опять дань». Она права. Она сказала: «Он не умеет приходить». Она тоже права, и это больнее.

Потом она сказала: дороги. И я ткнулся ей в грудь, как телёнок, не думая, а надо было думать. Надо было сказать: нет, иди домой, останься в своём дворе, с матерью и чабрецом, а я улечу и буду сереть где-нибудь в горах, пока не стану камнем.

Драконы не говорят «нет». Удобно.

Я хочу этих дорог так сильно, что мне стыдно перед собой — тем, прежним, который никогда ничего не хотел так, чтобы это было видно.

Глава 3. Записка

Домой я возвращаюсь тем же путём: оврагом, огородами, мимо бани. В Прошкину дыру пролезаю на четвереньках, и плетень на прощание снова дёргает меня за подол, как собака, которой жалко отпускать.

За плетнём, между грядками, стоит мама.

Она полет морковь. То есть делает вид. Сорняки лежат возле неё аккуратной кучкой, слишком маленькой для полудня, а сама она сидит на корточках лицом к дыре и ждёт. Я вылезаю прямо ей под ноги, вся в росе, в репьях, с клевером в косе, с сумкой, где на дне перекатывается одинокая горбушка.

Мама глядит на меня снизу вверх. Потом на дыру. Потом опять на меня.

— Пролезла, — говорит она. — Надо же. Я думала, туда только Прошка влезает да кошка.

— Я за подорожником…

— Встань.

Я встаю. Мама тоже поднимается, отряхивает колени, берёт меня за локоть и ведёт в баню, молча, как ведут козу, которая забралась в капусту. В бане сухо и сумрачно, пахнет веником и вчерашним паром. Мама сажает меня на лавку, сама садится напротив, вынимает из передника иголку с ниткой — они у неё при себе всегда, на огороде, у колодца, наверное, и во сне, — и протягивает руку.

— Подол.

Я подаю ей край подола. Он разорван на ладонь, и из прорехи торчит нитка, длинная, как хвост у мыши.

Мама шьёт. Стежки у неё мелкие, частые, будто она зашивает не холстину, а рану. Я сижу и гляжу на её руки: на пальце след от ножа, давний, белый; ноготь на большом обломан. Эти руки вынули из меня занозу, когда мне было четыре, и вправили Ване плечо, и приняли половину Заречья. А сейчас они чинят мне подол, и мне от этого хуже, чем если бы она кричала.

— Ловчие вернулись к обеду, — говорит мама, не поднимая головы. — Змея не нашли.

Я молчу.

— Ермолай говорит, на поляне за ельником вырос холм, — продолжает она тем же ровным голосом, каким объясняет бабам, сколько капель настойки давать ребёнку. — Вчера не было, а сегодня есть. Дышит. Ермолай считает, что это весна. А Яким с перепугу клянётся, что у холма была чешуя, и теперь ходит по двору и рассказывает всем, кто не успел убежать.

Нитка в её пальцах тянется и вздрагивает.

— Мама…

— Я не спрашиваю, — говорит она, и это так похоже на Ваню, что у меня сжимается горло. Значит, у нас в доме это семейное: не спрашивать, глядя в сторону. — Я тебе другое скажу. Ты хлеб пересаливаешь.

— Что?

— Ты берёшь из кадки соль горстью. Я вижу. Каждое утро горсть. Мы столько соли за зиму не съедаем, сколько ты за две недели унесла. — Она перекусывает нитку зубами и наконец поднимает на меня глаза. В глазах у неё прыгают рыжие искры, и сейчас их больше, чем обычно. — Кому ты носишь хлеб с солью, Василиса? Кого так встречают, как гостя дорогого?

Я хочу соврать. Правда хочу. У меня даже есть наготове нищий на дороге, старик из Ольховки, — и всё это вдруг кажется тонким и прозрачным, как луковая шелуха.

— Ему нельзя без хлеба, — говорю я. — Он не ест ничего, если не от меня. Сегодня утром он был серый. Весь. Пятнами. Он лежал и не мог поднять голову, а я дала ему хлеба, и он опять стал зелёный. Мама, он без меня не может.

Я говорю это и слышу, как это звучит. Как в песне, которую девки поют на посиделках, когда хотят, чтобы парни краснели. Мама, видно, тоже это слышит: у неё приподнимается бровь.

— Змей, — говорит она. — Без тебя. Не может.

— Да.

— Кощеев.

— Он ничей. Он сам прилетел.

Мама откладывает иголку. Складывает руки на коленях, ладонь на ладонь, и долго разглядывает меня, словно я больная, которая говорит одно, а жилка у неё на шее — другое.

— Знаешь, как я стала лекаркой? — спрашивает она вдруг.

Я качаю головой. Она мне никогда этого не рассказывала. Я думала, мама родилась лекаркой, сразу, со ступкой в руках.

— Мне было пятнадцать. Отец мой, твой дед, был человек строгий, держал нас, трёх девок, как кур: двор, огород, прялка, и чтоб засветло дома. А в лесу за речкой жила бабка Нежда. Тогда ещё не бабка — так, баба. Её звали ведьмой, и все к ней ходили. Днём плевали ей вслед, а ночью стучали в окно: то дитя горит, то корова не телится. — Мама усмехается краешком рта. — Я стала бегать к ней. Тайком. Говорила, что за ягодами. Ягод приносила столько, что сестры потом удивлялись, отчего у нас в доме всё варенье, а у меня руки по локоть в лопухе и в саже.

— И дед узнал?

— Узнал. Запер меня в чулане на неделю. Я вылезла через окошко, оно было вот такое. — Мама показывает ладонями, и выходит не больше печной заслонки. — Ободрала себе бока, плечо вывихнула. Нежда мне его потом и вправила, первым делом, прежде чем учить. Говорит: вот, смотри, на себе учись, так лучше запомнишь.

Я смеюсь, не удержавшись. Мама тоже улыбается, но тут же гасит улыбку, как лучину пальцами.

— А потом? — спрашиваю я.

— А потом приехал твой отец свататься. Молодой, светлый, с конём. Дед обрадовался: хоть одну с рук сбыть, да ещё в княжий дом. — Мама поправляет у меня на колене зашитый подол, разглаживает шов, хотя он и так ровный. — Твой отец мне лечить не мешал. Ни разу, слышишь. Я его за это и люблю. Но дальше нашего Заречья он меня не пускал. Говорил: княгиня не бегает по чужим волостям. По дворам — ходи. За околицу — нет. И я ходила по дворам. Двадцать с лишним лет. Хорошо ходила.

Она замолкает. В бане тихо, только за стеной кудахчет курица, которой что-то не понравилось.

— Мама, — говорю я осторожно. — А тебе хотелось? За околицу?

Она глядит в маленькое оконце над полком. Там видно кусок неба и ветку черёмухи, уже отцветшей.

— Нежда однажды сказала: лекарку не держат. Её зовут, — говорит мама, не отвечая. — Где-нибудь баба рожает поперёк, а лекарки нет, и это слышно за сто вёрст, если уши правильные. Я долго думала, что это она красиво сказала. Для словца. — Мама поворачивается ко мне, и лицо у неё вдруг усталое, совсем не огненное, и я впервые вижу у глаз морщины, мелкие, как трещинки на глазури. — Отец прав. Одна за ворота — ни шагу. Ты слышала, что бабы у колодца болтают. И письмо он не от радости за пазухой носит.

— Я слышала.

— Вот и хорошо. — Мама встаёт, прячет иголку в передник. — Отцу я ничего не скажу. Но врать за тебя тоже не стану. Сама будешь отвечать, если спросит.

Она идёт к двери, а у порога останавливается, не оборачиваясь, и говорит в косяк:

— И соли бери поменьше. Змеям, говорят, вредно солёное. Почки.

Дверь за ней хлопает. Я сижу на лавке, гляжу на свой зашитый подол, на ровные мелкие стежки, и не могу понять, что сейчас было: мне запретили или меня отпустили. С мамой так бывает. Она умеет сказать одно, а сделать так, что ты весь вечер слышишь другое.

За ужином отец молчит.

Это особое молчание, я его знаю с детства. Оно тяжелее крика, и все за столом стараются жевать тише. Ярослав с женой уехали к её родне ещё на Троицу, и без них стол кажется голым, как поле после покоса. Ваня ест так, будто каждая ложка каши ему лично чем-то обязана. Мама разливает квас. Прошка сидит на краю лавки — его сажают с нами, когда отец в духе или когда некому мыть посуду, — и ёрзает так, что лавка поскрипывает.

Долго он не выдерживает.

— А я холм видел, — сообщает он в тишину. — Который вырос.

Ваня давится кашей. Мама ставит кувшин мимо стола, ловит его на лету и опускает снова, уже куда надо.

— Холм, — повторяет отец, не поднимая глаз от миски.

— Ага. На поляне. Здоровый! Вот как баня. Ермолай Петрович говорит — весна, а я подошёл поближе, а он…

— Кто — он? Ермолай?

— Холм. Он моргнул.

Отец кладёт ложку. Медленно, аккуратно, черенком к себе.

— Прохор, — говорит он. — Холмы не моргают.

— Этот моргнул, — упрямо говорит Прошка и, подумав, добавляет для убедительности: — Левым.

Ваня под столом наступает мне на ногу. Я не понимаю, зачем: то ли чтобы я не смеялась, то ли чтобы не плакала. Что из этого сейчас ближе, не разобрать. Щёки пылают, и я низко наклоняюсь над миской, будто там, на дне, написано что-то важное.

— Завтра Ермолай пойдёт снова, — говорит отец, обращаясь ни к кому. — С собаками. Савелий своих приведёт, у него две гончие, на волка ходили. Холмы холмами, а собаки разберутся.

Тишина за столом становится такой плотной, что в неё можно воткнуть ложку.

С собаками. Собаки не перепутают дракона с холмом. Собаки пойдут за мной — по росе, по оврагу, через Прошкину дыру, — и приведут Савелия с капканом прямо к нему.

— И вот что, — отец наконец поднимает голову и смотрит на меня. — В субботу поедешь к тётке Ульяне. В Сторожье. Ваня отвезёт.

Ваня перестаёт жевать.

— Надолго? — спрашиваю я. Голос у меня выходит тонкий, чужой, как у Якима на поляне.

— Пока здесь не уляжется. До Покрова. — Отец снова берёт ложку. — Ульяна давно звала. Там места тихие. И люди не болтают, а если судачат, то не о тебе. Там тебя никто не знает.

«Никто не знает». Это значит: там можно начать сначала. Там, может быть, найдётся парень, не слыхавший ни о Кощее, ни о змее, и посватается к девушке из хорошей семьи, пока до Сторожья не доползли слухи. Отец этого не говорит. Он говорит про тихие места. Но я дочь своего отца. Он и в ту осень, когда пришла грамота, точно так же толковал об Ульяне и Покрове.

Меня снова везут. Добром, с заботой, на телеге, с пирогами в дорогу. Меня собирают в дорогу, как сундук с приданым, и везут туда, где меня будет удобнее держать.

— Хорошо, отец, — говорю я.

Отец кивает. Он доволен: я послушная. Я всегда была послушная.

Мама не говорит ничего. Только, когда собирает со стола миски, задерживается у меня за спиной на одно мгновение и поправляет мне ворот рубахи, хотя он лежит как надо.

Ночью я сижу на кухне у печи.

Все спят. Отец храпит за стеной так, что на полке подрагивают горшки, — зато, пока у него такой рокот, он не думает о письме. Ваня спит в сенях, на сундуке, там прохладнее. Прошка — на печи, свернувшись, как кот, и сопит в два носа: одним сопением своим, другим тем, что ему снится.

Передо мной на столе — стопка бересты.

Мама держит её для своих пучков. Надписывает угольком, что где лежит: «зверобой от живота», «пижма от глистов», «не трогать, Ваня!!» — на горшке с наливкой. Береста у неё ровная, тонкая, нарезанная лоскутками с ладонь. Я беру верхний лоскуток. Беру из печи уголёк, остывший, с одного конца острый, как гусиное перо.

Надо написать записку.

Я думала об этом весь вечер: за посудой, за косой, в темноте, слушая отцовский храп и мамино дыхание — когда мама не спит, оно у неё другое. Я сложила в голове такую записку, что, будь она песней, её пели бы на посиделках и плакали. А сейчас сажусь, беру уголь — и в голове пусто, будто кто-то вымел всё веником.

Пишу:

«Дорогой батюшка, я ушла с драконом».

Перечитываю.

Выходит начало сказки. Причём такой, где в следующей строке царь собирает трёх сыновей, и старший едет на вороном коне, и средний на гнедом, а младший, дурачок, на печи сидит. Ваня у нас средний. На гнедом он, может, и поедет, а дракона ему не одолеть, только коня загонит.

Зачёркиваю. Уголь крошится, и черта выходит жирная, с чёрной пылью вокруг.

Беру второй лоскуток.

«Не ищите».

Ещё хуже. Во всех Неждиных сказках, где кто-нибудь пишет «не ищите», его ищут. С собаками, с соседями, с тридцатью богатырями и с попом. «Не ищите» — это всё равно что повесить на воротах колокольчик и написать «звонить сюда».

Зачёркиваю.

Третий лоскуток. На этот раз я думаю дольше. Я думаю о маме у плетня, о её иголке, о соли горстью.

«Матушка, я ушла лечить. Хлеб в печи».

Хлеба в печи нет. Я его не пекла. Утром мама откроет заслонку, а там пусто, и это будет самое обидное во всей записке: пообещать хлеб и не оставить. Да и «ушла лечить» звучит так, будто я сбегала к соседке на часок, перевязать палец, и к обеду вернусь.

Зачёркиваю.

Пальцы у меня уже чёрные до второго сустава. Я тру нос — он чешется от угольной пыли — и теперь он, наверное, тоже чёрный.

Четвёртый лоскуток. Я пишу быстро, не думая, пока не успела испугаться:

«Батюшка, я не порченая».

И гляжу на эти слова, и у меня так горит лицо, что, кажется, береста сейчас затлеет. Я зачёркиваю их крест-накрест, раз, другой, третий, вдавливаю уголь так, что береста трескается вдоль, и уголёк хрупает пополам.

Я сижу и дышу.

На печи Прошка переворачивается на другой бок и говорит во сне, вполне отчётливо:

— Левым.

Я зажимаю рот чёрной ладонью. Плечи у меня трясутся. Вот сейчас — ночь, кухня, четыре зачёркнутые записки, отец храпит, завтра собаки, в субботу Сторожье, — и я сижу и давлюсь смехом из-за того, что холм моргнул левым.

Отсмеявшись, я беру новый уголёк и пятый лоскуток.

На этот раз я пишу медленно. Я пишу правду — ту, что можно сказать вслух, без драконов и без Нежды.

«Я ушла не к нему. Не к Константину».

Имя выходит само. Я его не собиралась писать. Рука вывела его сама, как самые знакомые буквы, — и вот оно лежит на бересте, неровное, угольное, с завитком на «К», которого у меня никогда не было. Гляжу и понимаю, что ни разу не писала его имя. Ни разу за всю жизнь. Говорила — да, редко, полушёпотом. А писать — нет.

Буквы стоят на бересте и как будто дышат.

Мне вдруг становится жарко. Не так, как от стыда: иначе. Жар поднимается откуда-то снизу, из-под рёбер, и ползёт к ушам, и ладони у меня делаются влажными, и уголь в пальцах скользит. Я помню его руку у моего горла, когда он перевязывал платок. Помню, как его костяшки на миг — один, не больше, — задели кожу под подбородком, и как я тогда перестала дышать, а он будто и не заметил. И вот я сижу на кухне, глубокой ночью, пишу его имя угольком, и у меня снова не получается дышать, будто он стоит здесь, у печи, и глядит на мои чёрные пальцы.

Глупость какая. Это от печи. От печи и от угля.

Я провожу черту через его имя.

Хочу ровную. Получается кривая, с загибом на конце, будто черта споткнулась. Я провожу вторую — она уходит вверх. Третью я уже не провожу. Его имя выглядывает из-под моих кривых линий, как из-за забора.

Так у него не получилось бы. У него всё ровное.

Я встаю, иду в свою светёлку и возвращаюсь с грамотой.

С самого возвращения она прячется под подушкой. Сложенная, с печатью, сломанной посередине. Развернуть её я так и не решилась. Может, боялась, что память меня обманула. Может, что не обманула.

Сажусь к столу. Вытираю пальцы о передник — чище они от этого не становятся, только холстина делается серой. Развязываю нитку. Разворачиваю.

Лист жёлтый, плотный, на сгибах уже немного потёртый. Число, срок. Печать. Острые буквы, прямые, как колья у частокола. А посередине — моё имя.

И через имя черта.

Одна. Ровная. Точно такая, какой я её помню, — от первой буквы до последней, без единой запинки, будто её провели по натянутой нитке. Чернила легли тонко, и, если наклонить лист к свету, видно, что перо нажимало одинаково на всём пути: не дрогнуло ни в начале, ни в конце.

Я кладу на неё палец.

Палец уже лежит там, на черте, и медленно ведёт по ней, от начала до конца. Как трогают старый шрам, когда он уже не болит, но помнит. Чернила гладкие. Бумага шершавая. Под подушечкой пальца черта чуть выпуклая, или мне так кажется.

«Это тебе. Чтобы никто не сказал, что ты сбежала».

Я веду пальцем обратно, от конца к началу.

Вот и выходит смешно. Он дал мне эту бумагу, чтобы я никогда не была беглянкой. А я завтра стану беглянкой — из родного дома, от собственного отца. И бумага будет лежать у меня в узелке и молчать, ведь от отцов грамот не выдают.

На тыльной стороне моего пальца остаётся угольный след, серый, прямо поверх его черты. Я пугаюсь, что испачкала грамоту, и дую на неё, и стираю краем рукава. Чернилам ничего не делается. Они въелись в бумагу навсегда, а мой уголь сходит от одного дуновения.

Я складываю грамоту обратно. Подумав, вкладываю в неё лоскуток бересты с его зачёркнутым именем. Лоскуток маленький, ему там как раз место, между сгибами, как засушенному цветку.

Остальные четыре я кладу в печь, на угли. Береста сворачивается трубочкой, шипит и вспыхивает весело и коротко, и на мгновение на кухне становится светло. «Батюшка, я не по…» — успеваю прочесть, прежде чем огонь съедает остальное.

Шестой лоскуток я пишу без черновиков. Слова приходят простые, будничные, как вода из колодца.

«Я изменилась. Жить, как раньше, больше не могу. Не сердитесь. Василиса».

Перечитываю. Ничего не хочется зачеркнуть. Ничего не хочется прибавить. Записка короткая, но мне кажется, что в неё влезло всё: и мама в бане, и отец с ложкой черенком к себе, и Ваня с его стружками, и колодец. Только про дракона там ничего нет. И про того, чьё имя теперь лежит в грамоте.

— Ты чего, княжна, чумазая?

Я подпрыгиваю на лавке. Прошка свесился с печи головой вниз: волосы торчат, глаза круглые, сонные, одна щека красная от кулака.

— Спи, — шепчу я.

— А ты чего не спишь?

— Пишу.

— А чего пишешь?

— Письмо.

— Кому?

— Спи, Прошка, ради бога.

Прошка спускается ниже, так что теперь висит на одних коленях, и разглядывает берёсту на столе. Читать он не умеет. Я учила его прошлой зимой, и он выучил все буквы, кроме «ять», зато путает «б» и «д», а «ж» считает жуком.

— Это «ж»? — Он тычет пальцем.

— Это «ж».

— Жук, — радуется Прошка. — А это?

— Прошка.

Он внимательно глядит на мою чёрную руку, на нос, на угли в печи, в которых ещё тлеет последний лоскуток, а потом переводит взгляд на дверь в сени. Там, за лавкой, — я только сейчас это вспоминаю, — уже лежит мой узелок. Я его собрала с вечера, пока мыла посуду, и запихнула поглубже, но Прошка в этом доме видит всё, что лежит не на месте.

— Ты к холмику, — говорит он. Не спрашивает.

Я молчу. Врать Прошке ещё хуже, чем маме: он потом неделю будет глядеть на тебя с укором, как телёнок, у которого отняли ведро.

— Насовсем? — спрашивает Прошка шёпотом.

— Не знаю, — говорю я честно.

Прошка думает. Висит вниз головой и думает, и лицо у него от этого делается свекольным.

— Ты скажи ему, — говорит он наконец, — что я никому. Ни Ермолаю Петровичу, ни князю. Что он моргнул. Скажешь?

— Скажу.

— И пусть ещё раз моргнёт. Когда-нибудь. Мне.

— Хорошо.

— И пряник, — добавляет Прошка, чтобы два раза не вставать. — Медовый. С ярмарки. Когда вернёшься.

— Если вернусь.

— Вернёшься, — уверенно говорит Прошка и уползает обратно на печь. Оттуда доносится: — Все возвращаются. Кошка вон наша три раза уходила.

И через минуту он уже сопит, как ни в чём не бывало.

Узелок у меня второй раз в жизни.

В первый раз я собирала его три дня, тайно, и всё укладывала аккуратно, по-девичьи: бабкин травник, сундучок с иглами, гребень, две рубахи. Тогда я вынесла его на середину двора, днём, у всех на глазах, и руки у меня тряслись. Я вышла сама, а дальше меня подхватили и унесли над облаками, и узелок я держала обеими руками до самого замка.

Теперь ночь. Никто меня не отдаёт. И никто не провожает.

Я достаю его из-за лавки в сенях, в двух шагах от Вани. Брат спит, раскинув руки, и хмурится во сне точь-в-точь как отец. Я уношу узелок на кухню и развязываю проверить, всё ли на месте. Две рубахи — те же, что тогда, только одна теперь с заплатой на локте. Гребень. Иглы и нитки — красные и белые. Нож, маленький, мамин, с костяной ручкой, которым она срезает пуповину. Я долго держу его в руке и кладу обратно в ящик. Потом достаю снова и кладу в узелок. Она найдёт себе другой. А у меня другого не будет.

Огниво. Соль в тряпице. Я отсыпаю щепоть обратно в кадку, а потом гляжу на неё и возвращаю ещё.

Из маминых пучков над печью я беру по стебельку из каждого: зверобой, ромашку, пижму, тысячелистник, чабрец. По одному, чтобы она не заметила. Она, конечно, заметит. Каждый свой пучок она знает в лицо, как отец — коней в табуне. Пусть заметит. Пусть утром, когда прочтёт записку, поглядит наверх и увидит, что у каждого пучка не хватает одной веточки, — и поймёт что-нибудь, чего я не сумела написать.

Грамоту я кладу на самое дно. Под рубахи.

Завязываю узел. Он выходит кривой, бабий, на одну сторону — как всегда, когда завязываю сама. Перевязывать не стану.

Записку я кладу на стол, на самую середину, где утром мама ставит хлебницу. Чтобы не сдуло, придавливаю её солонкой. Подумав, сдвигаю солонку ближе к краю, чтобы записку было видно от двери.

Отступаю на шаг.

Солонка — на самом краю.

И я стою посреди кухни, в темноте, с узелком в руках, и мне становится жарко, до самых корней волос, — снова, как над берестой, только теперь сильнее, а сердце колотится так, что, кажется, его сейчас услышит Прошка. Я ведь не нарочно. Я просто сдвинула. Чтобы было видно от двери.

Я протягиваю руку, чтобы вернуть солонку в середину, и не трогаю её.

Мимо родительской двери я иду босиком, сапоги в руке.

Отец храпит. Половица у порога, которая скрипит, если наступить на левый край, — я помню её с детства, через неё я тайком бегала к Ване, когда мне снились страшные сны, — я переступаю. Уже почти миную дверь, когда из-за неё доносится мамин голос, сонный, тихий:

— Василиса?

Я замираю на одной ноге, как цапля.

— Ты? — спрашивает мама.

— Я, — шепчу я. — Воды попить.

Тишина. Потом шорох: мама поворачивается на другой бок.

— Попей и ложись, — говорит она. — Ночь ещё.

— Сейчас.

Это последнее, что я ей говорю. «Сейчас». Ложь. Самая маленькая за эти две недели — и тяжелее прочих; она ложится мне на плечи поверх узелка, и до самых ворот я несу её, как второе ведро.

Во дворе меня встречает наш старый пёс, Буян. Он даже не лает: подходит, нюхает мой подол, мои чёрные пальцы и вздыхает, глубоко, по-стариковски. Я сажусь перед ним на корточки и обнимаю за шею. Шерсть у него пахнет пылью и сеном.

— Не лай, — шепчу я ему в ухо. — Завтра Савелий своих гончих приведёт. Ты их не пускай, ладно? Ты тут хозяин.

Буян лижет мне нос. Наверное, чёрный.

Через Прошкину дыру я пролезаю в третий раз за сутки. Подол на этот раз цел: мама зашила его так крепко, что плетню не за что зацепиться.

На огородах я оглядываюсь.

Бабка Нежда говорила: кто уходит в путь, тот не оглядывается, а то дорога обидится и заведёт в болото. Я оглядываюсь всё равно. Дом стоит тёмный, низкий, с белыми наличниками, которые отец красил прошлой весной. Ни в одном окне нет света. Никто не зажигает лучину и не подходит к окну. Труба над кухней ещё слегка курится, там догорает береста с моими «не ищите» и «я не порченая».

Я гляжу на трубу, пока дым не растворяется в темноте.

Потом поворачиваюсь и иду.

На поляне светлее, чем в лесу: луна висит над ельником, и клевер под ней кажется седым.

Дракон не спит. Он сидит посреди поляны, как пёс на крыльце, прямо, подобрав хвост, и глядит на тропу. Когда я выхожу из-за елей, он не вскидывает голову, как обычно. Он уже смотрит на меня. Он, наверное, услышал меня от самого плетня.

Я подхожу. Останавливаюсь в двух шагах. Он опускает голову и долго нюхает узелок: обнюхивает узел, бок, низ, где проступают через холстину углы грамоты. Потом нюхает мои руки. Потом нос.

Фыркает. Тихо, коротко, прямо мне в нос.

— Это не «нет», — говорю я. — Это ты сажу сдул. Я знаю.

Он ворчит.

— Прошка просил передать, что он никому. — Я поправляю узелок на плече. — И чтобы ты ему ещё раз моргнул. Когда-нибудь. И пряник. Пряник, правда, с меня.

Дракон садится на хвост. Склоняет голову набок, как будто прикидывает, во что ему обойдётся этот пряник.

Я стою перед ним, с узелком, с чёрными руками, в зашитом мамой подоле, и надо бы сказать что-нибудь. Что-нибудь большое. Я ведь ухожу. Из дома, от отца, от мамы, от Вани с его стружками. Насовсем или нет — не знаю. Надо сказать такое, чтобы потом, через годы, вспоминать.

— Ну, — говорю я. — Пошли.

Как будто зову его на огород.

Дракон поднимается, неторопливо, во весь рост. Над ним луна, на гребне у него роса, и он такой большой, что я на мгновение вижу его заново: не друга, не подушку, не печку, — огромного зелёного зверя, которого боится вся волость. Он опускает крыло к самой земле, ступенькой.

Я гляжу на крыло.

— Нет, — говорю я. — Я пешком.

Он не понимает. Склоняет голову на другой бок.

— Пешком, — повторяю я. — Своими ногами. Мне так надо, понимаешь? Если я полечу, то меня унесли. А если пойду — я ушла.

Дракон глядит на меня ещё мгновение. Потом медленно, с явной неохотой, будто его попросили пройти на задних лапах через всю ярмарку, складывает крыло. И опускается на четыре лапы рядом со мной.

Мы идём.

Он ступает осторожно, прямо за мной, и под ним не хрустит ни одна ветка, хотя весит он как три амбара. Клевер расступается. Луна плывёт над ельником. Где-то позади, далеко, в Заречье, лает чужая собака, и я вздрагиваю, а дракон опускает голову и касается меня мордой между лопаток. Легко. Так, будто подталкивает: иди.

И я иду.

Она пришла с узелком.

Я узнал этот узелок по запаху раньше, чем увидел, — по травнику, по гребню, по холстине, которая ещё помнит мой двор. Тогда, прошлой осенью, я снял её с отцовского двора вместе с ним. Она вцепилась одной рукой в гребень у меня на шее, а другой — в узелок, и не выпустила его даже в облаке. Я думал тогда, сколько дней понадобится, чтобы её сломить. Ошибся я во всём.

Теперь узел кривой. Бабий. На одну сторону. Она завязала его сама, и это видно, и я смотрел на этот узел дольше, чем следовало, и ничего не мог с собой сделать.

Однажды из моего дома уже уходили с узелком. Та женщина шла от меня. Эта шла ко мне, и всё равно под крыльями у меня похолодело.

На дне узелка лежит бумага с моим почерком. Я почуял её, как чуют собственную кровь. Я вычеркнул это имя, чтобы она была свободна. Она несёт вычеркнутое имя с собой. Что это значит, мне неведомо. В моих книгах про это не писали.

Нос у неё был в саже. Пальцы тоже. От неё пахло углём, остывшей печью и чем-то горелым, похожим на бересту. Я фыркнул. Это было «нет», а она решила, что я сдул сажу. Пусть. Есть вещи, которые лучше переводить неправильно.

«Пошли». Так зовут собаку или мужа. Я пока не решил, кем мне от этого быть.

Я подставил ей крыло. Она сказала: пешком. Если полетит, её унесли, а если пойдёт — ушла. В тот раз я унёс её, не спросив, и ни разу не подумал о разнице. Теперь я иду рядом с ней шагом, которым в жизни не ходил, — медленным, человеческим, и под лапами у меня не должна треснуть ни одна шишка. Это трудно. Дракон хочет поднять её и унести, высоко, далеко, туда, где нет собак. Я хочу того же. Мы оба идём шагом.

Старик в ельнике тоже будет доволен. Он хотел, чтобы у неё отнялось всё, к чему можно вернуться. Сегодня она сделала это сама, своими руками, угольком на бересте. И я рад. Вот что хуже всего: я рад, и старик порадовался бы тоже, и на мгновение мы с ним хотим одного.

Завтра её отец найдёт записку. Я не знаю, что делают отцы, когда им больно. Мой не вернулся, и спросить было некого.

Глава 4. Отречение

В первую неделю я узнаю о дороге больше, чем за всю прежнюю жизнь.

Например, что она бывает разной на вкус. Утром — роса и полынь, к полудню — пыль, которая хрустит на зубах, как сахар, только совсем не сладкая. Вечером дорога пахнет дымом из чужих труб, и от этого запаха у меня в животе становится пусто, даже когда я сыта.

Что сапоги, в которых я бегала по Заречью, годятся для родной улицы, а для дороги — нет. На третий день я натираю пятку до мяса, сижу на обочине и сама себе лекарка: подорожник, тряпица, мамины слова у меня в голове — «не реви, а прикладывай». Не реву. Прикладываю.

Что лечить «за хлеб» — значит получать что угодно, только не каравай. В первой деревне мне дают за вскрытый нарыв полкаравая, и это правильно. Во второй — горшок квашеной капусты, который я несу потом два дня, обняв, как младенца, и он булькает. В третьей старик, которому я вправила палец, долго роется за пазухой и торжественно вручает мне живого ежа. Ежа я отпускаю за околицей. Он уходит, не попрощавшись.

И ещё я узнаю, что дракон умеет прятаться в самых неожиданных местах.

Днём он держится от меня поодаль — я так попросила. Летает высоко, у самых облаков, или лежит в стороне от дороги: в овраге, в ольшанике, в старом ржаном поле, где колосья поднялись выше человека. Я иду по дороге, а он следует за мной, как тень за облаком, и я ни разу его не вижу. Только иногда: вдруг качнётся без ветра верхушка ольхи. Или вспорхнут из лощины все грачи разом. Или пастух на выгоне протрёт глаза, перекрестится и погонит стадо в другую сторону.

А вечером, когда я ухожу с дороги туда, где никого нет, он опускается рядом — бесшумно, как падает лист, — и ложится вокруг, и я засыпаю под крылом. И ни о чём не думаю. Почти.

Записка, наверное, уже прочитана. Мама, наверное, глядит на пучки под потолком. Отец, наверное…

Про отца я не думаю.

На седьмой день мы приходим в Подгорное.

Это большое село, просторнее нашего Заречья: две церкви, торг на площади и даже постоялый двор с вывеской, на которой нарисован не то петух, не то сковородка. Здесь чужая волость. Я специально шла так, чтобы уйти из нашей, — через лес, по броду, по заброшенной гати, — и теперь, ступая по чужой площади, чувствую себя почти невидимкой. Меня тут никто не знает. Это так легко, что хочется подпрыгнуть.

Дракон остался за рекой, в ивняке. Я велела ему лежать смирно и никого не есть.

Сегодня торговый день. Площадь шумит, как улей, в который сунули палку. Мужики продают дёготь и хомуты, бабы — яйца, творог, лук связками, глиняные свистульки, ленты. Пахнет рыбой, мёдом, конским навозом и жареным салом. У колодца поп спорит с бородатым коробейником о цене на воск, и оба размахивают руками так, будто ловят мух.

Мне нужна соль.

Моя тряпица опустела ещё позавчера: дракон съедает хлеб только солёным, а я, кажется, правда пересаливаю. Мама была права. Мама почти всегда права, и под рёбрами у меня что-то переворачивается, и я поскорее думаю о соли.

Платить мне нечем. Денег у меня нет, ни одной монетки, — зато есть десяток яиц в лукошке, которые мне утром дала баба с соседнего хутора за то, что я вправила её мальчишке вывихнутую руку. Мальчишка орал, как поросёнок под ножом, а потом, когда рука встала на место, сразу перестал, удивился и попросил пирога. Мать плакала, совала мне яйца и ещё порывалась отдать курицу, но от неё я отказалась. Курицу пришлось бы нести через лес, а дракон…

Нет, курицу я не взяла.

Соль продаёт толстая баба в цветастом платке, на возу с кадками. Лицо у неё красное, как свёкла, и весёлое, а голос такой, что его, наверное, слышно в соседней волости.

— Почём соль? — спрашиваю я.

— А тебе сколько, касатка? — Баба окидывает меня взглядом: платок, сумка, лукошко. — Горсть, две? Или на засолку?

— Мне бы… — Я протягиваю лукошко. — За яйца можно?

Баба заглядывает в лукошко, берёт одно яйцо, глядит на свет, на солнце, прищурившись, как ювелир на камень.

— Свежие, — говорит она одобрительно. — Чьи?

— С хутора. Дали.

— За что дали?

— Руку мальчишке вправила.

Баба опускает яйцо обратно и глядит на меня уже иначе — внимательнее, с любопытством.

— Лекарка, что ли?

— Лекарка.

— Ишь ты. Молоденькая. — Она кладёт на весы кулёк, сыплет в него соль большим деревянным ковшом. — А наша-то, Марфа, второй год как померла. Теперь как кто захворает, так в город возить, а это день туда да столько же назад. Ты б у нас осталась, касатка. Хорошей лекарке у нас всегда рады. И мужа тебе найдём, у нас парни крепкие, не то что в городе.

Я улыбаюсь и молчу. Баба сыплет соль, щедро, с горкой, гораздо больше, чем стоят десять яиц.

— Ты чья будешь? Откуда?

— Издалека.

— Издалека, — повторяет баба, будто пробует это слово на соль. — Ну, издалека, — соглашается баба. — Сейчас все такие. Давеча тоже какой-то издалека приезжал, — она понижает голос, но так, что слышно и на другом конце площади, — рыжий, в коротком кафтанчике. Всё спрашивал, не видали ли тут лекарку. Молодую, говорит, при змее. Говорит, змей зелёный за ней летает, а сама она хорошо лечит. Говорил так смешно, будто каши в рот набрал. Я ему говорю: милок, у нас змеев не водится, у нас только куры да поп.

Я сжимаю лукошко так, что в нём хрустит яйцо.

— И что он? — спрашиваю я.

— Уехал. Монетку мне дал за беспокойство, золотую, с каким-то королём. — Баба хлопает себя по груди, где, видно, эта монетка теперь и живёт. — Я её на шею повешу. Буду внукам показывать.

Она протягивает мне кулёк. Я перекладываю в её корзину яйца, одно за другим, осторожно, все десять. Одно треснуло, и на пальцах у меня остаётся липкий белок.

— Ой, да оставь, — машет рукой баба. — Треснутое себе возьми, на завтрак.

И тут на площади бьют в било.

Звук железный, гулкий, будто кто-то колотит в пустой котёл. Торг сразу стихает: замолкают коробейники, бабы, поп с его воском. Все оборачиваются к крыльцу у церкви.

Там стоит глашатай. Немолодой, в синем кафтане, с тощей шеей, которая торчит из воротника, как у гусака. В руках у него свиток. Рядом стоит детина с билом и оглядывает толпу так, будто кто-то из нас непременно что-нибудь украдёт.

— Слушайте, люди добрые! — кричит глашатай тонким, пронзительным голосом. — Слушайте и не говорите, что не слыхали! Грамота от князя Владислава из Заречья, по соседским волостям, кому ведать надлежит!

У меня в руке хрустит кулёк с солью.

Князь Владислав. Из Заречья.

Глашатай разворачивает свиток. Читает он громко и нараспев, как дьячок по праздникам, когда дьячку хочется, чтобы его похвалили.

— «Ведомо всем, что дочь моя, Василиса Владиславовна, прошлой осенью по закону о дани отдана была Кощею и им отпущена. А ныне, в ночь на пятницу, по своей воле покинула дом, тайно, не спросясь родительского благословения, и, как люди говорят, ушла вслед за Кощеевым змеем…»

По толпе прокатывается вздох, как ветер по ржи.

— «…и тем род свой опозорила пред людьми и Богом. А посему объявляю».

Глашатай делает паузу. Набирает воздуху. Он, видно, любит эти паузы и знает, что у него их сейчас ловит вся площадь.

— «Дочери у князя Владислава нет».

Я стою.

Мне кажется, что надо что-нибудь сделать: охнуть, пошатнуться, схватиться за воз. Ничего такого не происходит. Я просто стою с кульком в одной руке и с треснутым яйцом в другой, и вокруг меня шумит площадь, и солнце светит, и где-то за церковью орёт петух, перепутав полдень с утром.

— «…и кто её примет, приютит, накормит или иначе в чём поможет, тот пусть знает, что княжеской дружбы ему вперёд не видать. Писано в Заречье, рукою князя Владислава».

Глашатай сворачивает свиток. Потом, подумав, снова разворачивает, отходит к церковным дверям и прибивает его на дверь — гвоздём, по-хозяйски, тремя ударами молотка, который ему подаёт детина. Отступает. Отряхивает руки. Народ уже гудит, расползается обратно по рядам, обсуждает.

— Слыхала? — Толстая баба толкает меня локтем в бок. — Княжна! Со змеем! Ну дела. Вот она какая, нынешняя молодёжь. А отцу-то каково? Я б свою за такое за косу по всей улице протаскала, а потом бы всё равно простила, куда денешься. А он — нет у него дочери. Строгий, видать, князь.

— Строгий, — говорю я.

— А может, она и правда того. — Баба стучит себя пальцем по виску. — Порченая. У Кощея-то побыла. Кто его знает, чего там с девками делают. Вот и бегает за змеем, как кошка за салом.

Я кладу треснутое яйцо обратно в её корзину.

— Возьмите, — говорю я. — Оставьте себе.

И иду через площадь.

Я не иду к реке. Я иду к церкви.

Ноги идут сами, а я иду вместе с ними, как телега за лошадью. Люди расходятся передо мной, кто-то оглядывается, но все молчат: я никто, девка в платке, мало ли таких.

Грамота висит на двери. Бумага хорошая, плотная, отцовская: такую он держит для важных дел, она лежит у него в горнице, в ларце, под замком. Почерк писарский, ровный, с завитушками. А внизу — подпись. Отцовская.

Его руку я узнаю из тысячи. Крупные, тяжёлые буквы, с наклоном, будто каждая идёт против ветра. Этой рукой он писал мне в детстве на бересте азбуку, большими буквами, чтобы я видела. Этой рукой выводил мне на именины: «Василисе — от батюшки» на коробочке с бусами.

А над подписью, в самой грамоте, там, где писарь вывел моё имя, — черта.

Её провёл не писарь. Это видно. Писарь провёл бы ровно, тонко, как всё остальное. А эта черта жирная, рваная, перо на ней спотыкалось, брызгало, давило. В одном месте бумага прорвана насквозь, и сквозь дырочку виднеется тёмное дерево двери. Чернила растеклись по краям, как синяк.

Он нажимал так сильно, что прорвал.

Я не могу отвести глаз от этой дырочки.

Меня вычеркнули два раза. Один раз — ровно, тонко, одним движением, будто боялись причинить боль. Другой раз — вот так.

Мне хочется дотронуться до этой черты. Провести пальцем, как по той, ровной, — от начала до конца. Узнать, какая она на ощупь. Я даже поднимаю руку.

— Ты чего, девка, грамоте учёная? — спрашивает у меня за спиной детина с билом. — Читаешь?

Я опускаю руку.

— Нет, — говорю я. — Просто смотрю.

— Ну и смотри издали. Нечего тут лапать. Княжья грамота.

Я ухожу.

Я прохожу всю площадь насквозь: возы, коробейник, баба с солью, которая машет мне вслед и что-то кричит про мужа. Я иду ровно, держу спину прямо, кулёк с солью у груди. Не плачу. Я даже, кажется, улыбаюсь мальчишке со свистульками, и он скалится в ответ.

Плакать при людях мама не велела. «Наревёшься потом, — говорила она, когда мне было пять и я разбила коленку при соседях. — Дома. Лекарка при людях не ревёт. А то больной подумает, что помирает».

Я не реву.

Только за околицей, у последнего плетня, я вдруг понимаю, что прижимаю кулёк к груди так крепко, что соль просыпалась мне за пазуху, и она колется, и щиплет кожу, будто я вся одна сплошная ссадина.

К реке я выхожу только в сумерках.

Весь день я бродила. Лесом, берегом, опять чащей. Садилась на пень, вставала, шла, опять опускалась на землю. Ела хлеб — то есть отламывала, держала в руке, а потом обнаруживала, что так и не съела. Мне казалось, что, если я перестану двигаться, случится что-то страшное. Что именно — я не знала.

Дракона я не звала. Я и не хотела, чтобы он меня видел. Мне было стыдно, будто это меня прибили гвоздём на церковную дверь, а не бумагу.

Берег здесь пологий, песчаный, в ивах. Вода течёт тихо, тёмная, и в ней плавают первые звёзды, дрожат и не тонут. Я сажусь на песок у самой воды. Разуваюсь. Опускаю ноги в реку.

Вода холодная, и у меня сразу сводит пальцы. Хорошо. Пусть сводит.

Я сижу и вспоминаю.

Отец сажал меня на плечи на Масленицу, чтобы я видела, как жгут чучело. Я держалась за его уши, а он делал вид, что я его сейчас оторву, и кричал «ой-ой-ой», и все вокруг смеялись. Мне было пять. Или шесть.

Отец учил меня ездить верхом. Сам держал повод, шёл рядом с конём кругами по всему двору, весь день, и, когда я упала, первым подбежал и поднял, и ощупал мне руки, ноги, рёбра, — и только потом, убедившись, что всё цело, отругал.

Прошлой осенью отец ходил по двору чернее тучи и наконец опустился на нижнюю ступеньку крыльца и сказал, что не отдаст. Мне этих слов хватило на всю зиму в замке. Я грелась ими, как варежкой.

А утром я всё равно вышла на двор с узелком, и он меня не удержал.

А теперь — дочери нет.

Я гляжу на воду. Звёзды в ней дрожат. Мне не плачется. Это странно: весь день я думала, что вот-вот, вот только останусь одна. А теперь я одна, и ничего. В груди пусто и сухо, как в печи, из которой выгребли угли.

Сзади хрустит песок.

Я не оборачиваюсь. Я знаю, кто это. Его не может быть слышно, он ступает бесшумно, — но сейчас песок хрустит громко, нарочно, чтобы я не испугалась.

Он ложится рядом. Не вокруг, как обычно, а рядом, на расстоянии вытянутой руки. Опускает морду на песок у моего бедра и молчит.

Мы оба смотрим на реку.

— Ты слышал? — спрашиваю я наконец.

Он не двигается. Но гудение внутри у него, низкое, ровное, вдруг сбивается, как у человека дыхание.

— Слышал, — говорю я. — Конечно, слышал. У тебя уши, как у… как у… Я не знаю, как у кого. У тебя всё слышно.

Я вынимаю ноги из воды. Подтягиваю колени к подбородку, обхватываю их руками.

— Он прорвал бумагу, — говорю я. — Ты бы видел. Он так нажимал, что прорвал. Там дырочка. Маленькая, вот такая. — Я показываю ему щепотью, хотя в темноте он вряд ли разглядит. — Сквозь неё видно дверь. Знаешь, у тебя… у Константина — черта ровная. Он провёл одной рукой, как по нитке. Я вчера… то есть позавчера… то есть в ту ночь, перед уходом, я её разглядывала. Она ровная. Совсем. А у отца — нет. У отца она вся в кляксах.

Дракон не двигается.

— Я не понимаю, — говорю я. — Я правда не понимаю. Один чужой человек вычеркнул моё имя — и мне от этого стало легко. Как будто шубу сняли. А родной отец вычеркнул — и как будто… как будто…

Я не знаю, как будто что. У меня нет слова. Я сижу, открыв рот, и жду, что слово придёт, а оно не приходит.

— Мама, наверное, плакала, — говорю я вместо этого. — Когда он писал. Она стояла рядом и плакала, а он писал. Или нет. Она не плачет при людях. Она стояла и молчала. А потом, наверное, пошла и посмотрела на свои пучки. И увидела, что я взяла по веточке. Как ты думаешь, она поняла?

Дракон вздыхает. Тихо. Тёплый воздух из его ноздрей шевелит песок у моих ног.

— А Ваня, наверное, ругался. Ваня всегда ругается, когда ему больно. Он бы пошёл с отцом спорить. Он, может, и пошёл. А отец ему — «я так сказал, этого мало?» — Я смеюсь, коротко, и смех получается не мой, как чужая рубаха. — Это мало, батюшка. Это очень мало.

Я утыкаюсь лбом в колени.

Не плачу. Сижу. Река течёт. Где-то в ивах кричит ночная птица — коротко, вопросительно, будто тоже чего-то не понимает.

— Ты не уходи, — говорю я в колени. — Ладно? Хоть ты.

Он придвигается. Совсем немного, на ладонь, так что теперь его морда касается моего бедра. Чешуя тёплая, шершавая. Я кладу на неё руку и не убираю.

Мы сидим так долго. Звёзд в реке становится больше. Потом из-за ивы выплывает луна, и вода делается серебряной, будто в неё вылили расплавленную ложку.

Я засыпаю, сидя. Сначала голова клонится к коленям, потом я сползаю набок, на песок, и последнее, что я помню, — тёплый драконий бок у меня под рукой и запах реки.

Мне холодно.

Это первое, что я чувствую, когда сон становится тонким, как ледок по краю лужи. Под рукой больше нет тёплого бока. Песок под щекой остыл, с реки тянет сыростью, и я сворачиваюсь клубком, поджимаю колени, но холод пробирается под рубаху, под платок, под кожу.

Я хочу проснуться и позвать его. И не могу: веки тяжёлые, как намокшие варежки.

А потом на меня ложится что-то.

Тяжёлое. Тёплое. Шершавое. Пахнет оно не крылом — у того запах смолы и камня, это я знаю, — а шерстью, дымом и немного рекой, как будто его полоскали в той же воде, у которой я сижу.

Меня укрывают. Осторожно, медленно, начиная с ног. Подтыкают край под пятки. Потом выше: колени, бок, плечо. Край ложится мне на плечо, и чья-то рука задерживается на нём, всего на мгновение, поверх шерсти, — и я чувствую сквозь неё пальцы. Длинные. Холодные даже сквозь ткань.

Пальцы поправляют край у моего уха.

И не уходят.

Я лежу, не дыша, с закрытыми глазами. Не знаю, сплю я или нет. Мне кажется, что надо мной кто-то есть. Кто-то сидит на корточках, совсем близко, — я слышу дыхание, неровное, короткое, будто человек долго бежал. Чувствую тепло от его лица у своего виска. Пахнет смолой. А ещё сухим, книжным духом старых переплётов — пылью и временем.

Так пахла библиотека.

Рука над моей головой. Я её не вижу, но чую, как огонь в темноте, — по жару. Она висит над моей головой, над прядью, выбившейся из-под платка, — так близко, что каждая волосинка, наверное, тянется к ней, как к свече.

Рука не опускается.

Она замерла, и мне начинает казаться, что я слышу, как в этой руке стучит кровь. Внизу живота у меня становится горячо и тесно, будто я выпила залпом кружку тёплого мёда, и я не понимаю, отчего, — мне снится, это же сон, во сне всё бывает, — и я хочу повернуть голову, самую малость, чтобы волосы сами коснулись этой ладони.

Рука убирается.

— Крыло… — шепчу я. Или думаю, что шепчу.

Рядом кто-то выдыхает. Коротко. Почти смешком. Или почти стоном — я не разбираю.

И я проваливаюсь в сон, глубоко, как в тёплую воду, и там, во сне, мне больше не холодно.

Просыпаюсь я под крылом.

Солнце уже встало, и сквозь зелёную перепонку пробивается свет, рассеянный, золотой. Подо мной не песок, а сухая трава: ночью меня, видно, перенесли от воды повыше. Рядом мерно дышит драконий бок, тёплый и огромный, как печь.

Я лежу и вспоминаю. Шерсть. Пальцы у уха. Рука над волосами.

Сон. Конечно, сон. Крыло укрыло меня ночью, а мне приснилось бог знает что. Это от горя, говорила бабка Нежда, — после большой беды всегда снится что-нибудь странное, будто душа, пока ты спишь, бегает по чужим дворам и подбирает там чужие сны.

Я сажусь. Крыло послушно приподнимается надо мной, как полог.

Дракон смотрит на меня одним глазом, сонным, хмурым. Под глазом у него что-то тёмное, будто он не спал всю ночь.

— Это ты меня укрыл? — спрашиваю я.

Он прикрывает глаз. «Надоела». Или «да». Или «отстань, дай поспать».

— Спасибо, — говорю я. — Мне снилось, что ты… что это было не крыло. Что это шерсть. Плащ. И рука. — Я трогаю ухо, то место, где ночью лежали пальцы. — Глупости, правда?

Дракон не отвечает. Он отворачивает морду в сторону и делает вид, что очень занят ивой.

Я перевязываю платок. Пальцы натыкаются на что-то у шеи — тонкое, колючее, зацепившееся за ворот рубахи. Я снимаю его. Нитка. Серая, шерстяная, грубая, как от мужицкого армяка.

Я верчу её в пальцах.

— Это откуда? — спрашиваю я у дракона. — У тебя ведь не бывает ниток.

Дракон чихает. Громко, внезапно, так что с ивы осыпаются листья, а у меня взлетает платок.

Пока я ловлю платок, нитку уносит ветром.

Человеком я не был с того утра, когда она ушла по моему мосту. Больше я не стану думать, что это легко.

Сначала дракон не хотел меня отпускать. Он держался за неё — за её дыхание у своего бока, за тёплую руку на чешуе, — как держится за материнский подол годовалый ребёнок, и мне пришлось отдирать себя от него по косточке. Это не больно. Это хуже: так, наверное, чувствует себя река, когда её заставляют течь обратно. Чешуя пряталась внутрь, как вода в песок. Крылья складывались в лопатки и не помещались там, и я лежал лицом в мокрой траве, в двадцати шагах от неё, и слушал, как у меня внутри, со скрипом, будто старые ставни, становятся на место человеческие рёбра.

Потом я встал. Ноги меня не держали. Я забыл, как это — держать на двух ногах человека.

И было холодно. Как же было холодно. Я забыл и это: что у людей нет чешуи, а у меня, кроме кожи, больше ничего и нет. Мой кафтан лежит сложенный на её табурете, в замке, за сто вёрст отсюда, — я сам его там оставил, со значением, которого теперь не помню. Значение было, видимо, такое: идти по крапиве голым.

Армяк я снял с забора у мельника, по ту сторону ивняка. Он сушился после стирки и пах щёлоком и дымом. Собака на привязи, увидев меня, не залаяла, а только легла и закрыла морду лапами. Я её понимаю.

Я никогда ничего не крал. Брал — да, много и разное. Но красть армяк у мельника, босиком, при луне, обжигая крапивой то, о чём в атласах моей библиотеки пишут сухой латынью, — такого со мной ещё не случалось. Узнай её отец, как Кощей проводит ночи, он вычеркнул бы и меня. Из страшных сказок.

Она лежала свернувшись, как кутёнок. Я укрыл её. Подоткнул под пятки. Это я умею, я видел у Агафьи, — хотя не помню, чтобы так укрывали меня.

А потом я сидел над ней на корточках и не мог встать.

Её отец вычеркнул её имя. Я знал, что он это сделает: таких людей я видел много — у них гордость лежит там, где у других сердце, и, когда её задевают, они бьют, не глядя, по своим. Знал и всё равно оказался не готов к её голосу у реки: «Один чужой человек вычеркнул моё имя — и мне стало легко». Чужой. Ну да. Кто же ещё.

Её вычеркнули второй раз. Первым был я.

Прядь выбилась у неё из-под платка, светлая, на тёмном армяке, у самого виска. Я поднял руку. Я хотел только убрать её с лица, ничего больше, — и рука повисла в воздухе и не опускалась. В книгах написано, что человек, долго лишённый прикосновения, поначалу воспринимает его как боль. Это неправда. Это не боль. Я держал ладонь над её волосами и чувствовал их тепло, и это было страшнее, чем вся крапива по дороге от мельника.

Она шевельнулась. Повернула голову — чуть заметно. К моей ладони.

Я убрал руку.

«Крыло», — сказала она во сне.

Пусть будет крыло. Мне не жалко.

Я сидел рядом до рассвета. Не трогал её. Смотрел, как над рекой бледнеют звёзды, как ива из чёрной становится серой. Потом отнёс её от воды повыше, на сухое — руки, видимо, помнили, как это делается, а сам я — нет, — вернул армяк на забор, мокрый от росы. Мельник будет долго гадать, кто это ночью ходил в его одёжке купаться.

Потом я лёг в траву и стал драконом. Это проще. Это как упасть.

Одна нитка от армяка осталась у неё на вороте. Она её нашла, и я чихнул так, как не чихал ни один дракон на свете. Ветер оказался на моей стороне. За всю эту неделю хоть кто-то.

Глава 5. Горе

Утром я развязываю узелок и раскладываю на траве мамины веточки.

Пять штук. Зверобой, ромашка, пижма, тысячелистник, чабрец. За неделю дороги они высохли совсем и стали ломкими, как крылья у прошлогодней стрекозы. Я кладу их в ряд, ровно, стебель к стеблю, и сижу над ними.

Зверобой мама даёт от живота и от тоски. Говорит: зверобой — трава весёлая, она солнце в себе держит, даже сок у неё красный, будто внутри что-то горит. Я помню, как она растирала его в пальцах и подносила мне к носу, когда я, маленькая, плакала из-за разбитой куклы: «Понюхай. Ну? Полегчало?» И правда отпускало. Мне всегда легчало, когда она что-нибудь подносила к моему носу.

Я подношу зверобой к носу.

Пахнет сеном. Пылью. Немножко мамиными руками — или мне так хочется.

Ромашку мама заваривает, когда болят глаза. Пижму вешает в сенях от моли и ругается, что пижма воняет. Тысячелистник носит в переднике всегда, на случай пореза: разжевать и приложить. Однажды Ваня распорол ладонь о косу, и мама разжевала тысячелистник прямо у него на глазах, и брат побелел от одного вида зелёной жвачки, а кровь остановилась.

Чабрец.

Чабрец я не трогаю. Только гляжу на него, и к горлу подступает что-то сухое и шершавое, как этот самый стебель. Чабрец с душицей, горячий, горький, в глиняной кружке, ночью, когда я металась во сне. «Он тебя там не обижал?»

Не обижал, мама. Меня обидели дома.

Я собираю веточки обратно в тряпицу. Осторожно, чтобы не сломать, хотя пижма всё равно ломается пополам, и я долго держу две половинки, не зная, что с ними делать. Потом кладу обе.

Дракон лежит рядом и смотрит.

— Что? — говорю я. — Я ничего. Я просто перебираю.

Он не отводит глаз.

— Не смотри так. Есть я не хочу. Иди, лети куда-нибудь.

Он не летит.

Есть я правда не хочу.

Это странное чувство: голода нет, а хлеб во рту становится как глина. Я отламываю кусок, кладу в рот, жую без конца — и не могу проглотить. Выплёвываю в ладонь, тайком, чтобы дракон не видел, и прячу под лопух.

Дракон видит. Он всё видит. Он поднимает голову, обнюхивает лопух и глядит на меня с укором, от которого хочется спрятаться под тот же лист целиком.

— Не могу, — говорю я. — Честно. Не лезет.

Остальной хлеб я отдаю ему. Солю. Ломаю. Он ест — неохотно, медленно, через раз, — и всё время косится на меня, будто проверяет: не врёт ли эта девица, что сыта.

Мы не идём дальше. Я не могу. Я нахожу место над речкой, где берег поднимается крутым боком и в нём, под корнями старой ветлы, есть уютная ложбина, сухая, с мягкой землёй. Там я и сижу. Весь первый день. Потом второй.

Чем-то надо занять руки. Мама говорила: когда горе, руки должны работать, а то они начинают теребить душу.

Я достаю иглу и красную нитку.

На левом рукаве рубахи, у самого запястья, у меня нет вышивки. Мама давно говорила: вышей, а то голый рукав — как неприкрытая дверь, всякая хворь заходит. Я не вышила. Всё было некогда. Теперь время у меня есть, сколько угодно, его даже девать некуда.

Узор я знаю. Мамин, обережный: ромбик, а по краям крючки, как маленькие руки, которые держатся друг за друга. Мама вышивала его всем нам: отцу на ворот, Ярославу на свадебную рубаху, Ване на рукава, мне — на подол, когда мне исполнилось семь. Она говорила, что крючки — это наши, родные, они держатся за руки и никого чужого не пускают.

Я начинаю вышивать.

Первый ромбик выходит кривым. Я распарываю. Второй — ровнее, но один крючок смотрит не в ту сторону, будто кто-то из родных отвернулся. Я распарываю.

К вечеру второго дня у меня на рукаве один-единственный ромбик без крючков. Голый. Красная нитка стала короче на две ладони, а вокруг ромбика ткань вся в мелких дырочках от иглы, как будто её клевали воробьи.

Я смотрю на этот ромбик. Крючки у меня не получаются. Совсем. Рука сама сбивается каждый раз, когда я пытаюсь вывести, как они держатся друг за друга.

Я распарываю и ромбик.

Ночами мне холодно.

Не так, как у реки в ту ночь. По-другому: изнутри. Будто во мне кто-то открыл окно и забыл закрыть. Я ложусь под крыло, сворачиваюсь клубком, но сон не идёт, и я лежу с открытыми глазами и слушаю, как бьётся у дракона сердце.

Засыпаю я, только когда прижимаюсь к его боку всем телом. Щекой, грудью, коленями. Так, чтобы между мной и чешуёй не осталось ни щёлочки. Тогда тепло медленно заходит в меня снаружи и встречается где-то посередине с тем, что ещё осталось внутри, и я проваливаюсь в темноту, как в пуховую перину.

И каждую ночь, перед тем как провалиться, я жду.

Шерсти. Пальцев у уха. Руки над волосами. Того сна у реки.

Он не возвращается. Ни на вторую ночь, ни на третью. Я лежу, прижавшись к драконьему боку, и думаю: глупая. Это был сон. Сны не ходят по заказу, как коробейники. Но всё равно жду — и, засыпая, нарочно оставляю край платка сползшим с виска, чтобы, если он всё-таки придёт, ему было удобнее.

Мне потом стыдно за это. Утром. Я поправляю платок двумя руками, затягиваю потуже и не смотрю на дракона.

На третье утро дракон приносит овцу.

Я просыпаюсь от блеяния. Прямо над ухом, жалобное, дребезжащее, как у старухи, которой наступили на ногу. Открываю глаза — передо мной стоит овца. Белая, кудлатая, с репьями в шерсти и с глазами, полными такого ужаса, будто она только что видела конец света. Она его, впрочем, и видела: её принесли по воздуху.

Дракон сидит рядом. Очень прямо. Очень гордо. И смотрит на меня, на овцу и снова на меня.

— Это что? — спрашиваю я.

Дракон подталкивает овцу мордой ко мне. Овца блеет и садится на хвост от страха.

— Это… мне? — Я сажусь. — Ты принёс мне овцу?

Он ворчит. Довольно.

— Зачем?

Он переводит взгляд с меня на овцу и обратно, и я вдруг понимаю. Есть. Я не ем хлеб — значит, он принёс мне то, что едят сами драконы. Мясо. Целиком. Живое.

Овца, видно, понимает это одновременно со мной и блеет так отчаянно, что у меня звенит в ушах.

— Нет-нет-нет, — говорю я и хватаю её за шею, обнимаю, как сестру. — Нет. Ты не будешь её есть, и я не буду. Никто никого не будет есть. Ты где её взял? Её хозяева ищут!

Дракон обиженно фыркает. «Нет». Это он, видимо, про хозяев.

— Ищут, — повторяю я. — Отнеси обратно. Сейчас же.

Он отворачивается. Ложится, кладёт морду на лапы и закрывает глаза.

— Ах, так.

Я встаю. Беру овцу за шерсть на загривке — она тяжёлая, тёплая и пахнет так, что лучше бы не пахла, — и иду с ней вдоль речки, туда, откуда утром слышала колокольчики. Овца упирается всеми четырьмя ногами. Я тяну. Она блеет. Я ругаюсь, вслух, словами, которые слышала от Ермолая, когда он чинил забор.

Сзади слышно, как дракон встаёт и, тяжело вздыхая, идёт следом. Не помогает. Просто идёт и вздыхает, и в этом вздохе столько обиды, что, кажется, им можно было бы надуть парус.

Стадо мы находим за поворотом реки. Пастушок спит под кустом, а остальные овцы мирно жуют. Я отпускаю свою — она бежит к своим без оглядки, спотыкаясь, и сразу становится в середину стада, чтобы её больше никто не нашёл.

Пастушок не просыпается. Я тихонько ухожу.

А на обратной дороге вдруг останавливаюсь посреди тропы и понимаю, что смеюсь. Тихо, в ладонь, а потом всё громче, и не могу остановиться. Целая овца. Живая. Мне на завтрак.

Дракон стоит рядом и смотрит, как я смеюсь, и вид у него оскорблённый до глубины чешуи.

И вдруг смех переворачивается, как лодка, и я плачу.

Первый раз за все эти дни. Стою посреди тропы, в росе, и реву в голос, громко, некрасиво, как ревела в пять лет, когда разбила коленку при соседях и мама велела не реветь. Слёзы текут сами, их так много, будто они копились не три дня, а все двадцать лет. Я реву о чабреце, о прорванной бумаге, о ступеньке, на которой сидел отец, о Ване, о Прошке, о наших крючках, что держатся друг за друга и никого чужого не пускают.

Меня не пускают.

Дракон опускает голову, и я утыкаюсь лицом ему в шею и реву туда, в тёплую чешую, пока слёзы не иссякают.

Потом я стою, мокрая, опухшая, икаю. Дракон дышит мне в макушку. Тёплый воздух шевелит волосы.

— Спасибо за овцу, — говорю я, икнув.

Он ворчит.

Вечером того же дня я наконец съедаю кусок хлеба.

Голод тут ни при чём. Я смотрю на дракона и вижу, что у него на боку, у самого крыла, опять проступили серые пятна. Маленькие, как монетки. Он лежит, и пятна дрожат, когда он дышит.

От этих пятен мне становится страшно. По-настоящему. Так, как не было страшно даже на площади в Подгорном.

— Это из-за меня, — говорю я. — Да? Я не ем, и ты… Я пустая, и тебе нечего… Да?

Он не фыркает.

Я беру хлеб, отламываю, кладу в рот. Жую. Глотаю. Всё та же глина. Но я жую и глотаю, кусок за куском, и плачу немного, но уже тихо, без голоса. Дракон глядит на меня, не моргая. Когда я съедаю половину горбушки, а вторую кладу ему в губы, он берёт и ест, а серые пятна на его боку медленно бледнеют, будто их стирают мокрой тряпкой.

— Ладно, — говорю я. — Ладно. Я поняла. Ты мне — овцу. Я тебе — хлеб. Договорились.

Он жмурится. Как хочешь, так и понимай.

Колокол появляется ночью.

Я сплю, прижавшись к драконьему боку, и мне снится, что я дома, на Пасху, и звонят во все колокола разом, и мама будит меня к заутрене. А потом звон становится настоящим — гулким, тяжёлым, совсем рядом, такой, что у меня в груди начинают гудеть рёбра.

Я вскакиваю.

Посреди нашей ложбины, под ветлой, на боку лежит колокол. Небольшой, с ведро, позеленевший от старости, с обрывком верёвки на языке. Он ещё качается, переваливаясь с боку на бок, и при каждом покачивании гудит всё тише, будто засыпает.

Дракон сидит рядом и смотрит на меня. Глаз у него горит в темноте, весёлый, ожидающий.

— Ты… — говорю я. — Ты… это откуда?

Он кивает куда-то за реку. Там, за лесом, на холме, если присмотреться, торчит в лунном свете крохотная часовенка с пустой звонницей.

— Ты украл колокол, — говорю я медленно. — С часовни. Ночью.

Он ворчит. Довольно. Как вчера с овцой.

А за рекой, в деревне, уже лают собаки. Одна, вторая, потом все разом, и где-то хлопает дверь, и чей-то голос кричит: «Звонили! Слыхали? Кто звонил?»

— Зачем? — шепчу я, хватая его за морду. — Зачем ты его принёс?

Он подталкивает колокол носом ко мне. Колокол гудит.

И тут до меня доходит. Пасха. Звон. Сон, который мне снился, — может, он его тоже видел? Или просто знает, что люди радуются, когда звонят колокола. На праздник. В церкви. Когда хорошо.

Он принёс мне праздник.

— Ох, ты, — говорю я, и у меня опять щиплет в носу, но теперь по-другому. — Ох, ты, глупый. Огромный, зелёный, глупый. Неси обратно. Сейчас же, пока они не прибежали с вилами. Повесь, где взял. Тихо. Понял? Тихо.

Он вздыхает, словно я велела ему загнать обратно взошедшее солнце. Но берёт колокол — бережно, зубами за верёвку — и улетает в темноту.

Звона больше нет.

Утром, уже засыпая под крылом, я слышу из-за реки, как кто-то на холме долго, растерянно звонит. Будто не верит, что колокол вернулся.

На четвёртый день он приносит телегу.

Вместе с сеном. И с хозяином.

Я замечаю их не сразу. Я сижу на берегу, вышиваю — у меня наконец получился один крючок, один-единственный, но держится, — и вдруг на меня падает тень. Большая. Я поднимаю голову.

Надо мной по воздуху плывёт телега, полная сена. Дракон держит её лапами за оглобли, бережно, как держат миску с молоком, чтобы не расплескать. Колёса крутятся в пустоте. А на самом верху, в сене, сидит мужик — с вилами в одной руке и шапкой в другой, — и рот у него открыт, а звука нет. Совсем.

Дракон опускает телегу передо мной на траву. Так мягко, что ни одна травинка из сена не падает. Потом садится рядом и сияет: так, наверное, сиял бы купец, принёсший невесте сундук с золотом.

Мужик сидит в сене. Вилы в руке. Шапка в другой. Рот открыт.

Я встаю. Откладываю вышивку.

— Здравствуйте, — говорю я.

Мужик закрывает рот. Открывает. Закрывает.

— Вы не бойтесь, — говорю я. — Он не ест людей. Он и овец не ест. Он только… дарит.

Мужик медленно переводит взгляд с меня на дракона. Дракон смотрит на него приветливо. Насколько вообще приветливо может смотреть зелёный змей ростом с амбар.

— Это, — говорит мужик хрипло и показывает шапкой на дракона, — твоё?

— Нет. Он ничей.

— А сено — моё, — говорит мужик, будто это сейчас важнее всего на свете.

— Конечно, ваше.

— И телега моя. И лошадь была моя. — Он оглядывается, словно ищет её в небе. — Лошадь он выпряг. Аккуратно так. Я и не заметил, как. Сижу на возу, еду с покоса, никого не трогаю. Потом тень. Потом — фьють. — Мужик показывает шапкой, как это было: вверх. — И лечу. И думаю: ну всё, Фома, отъездился. Сейчас тебя на небо возьмут. Живьём. А я ведь в Великий пост в среду молоко пил, и на исповеди не сказал.

Я закусываю губу.

— Вас не на небо, — говорю я. — Вас ко мне.

— Это я вижу, — говорит Фома и наконец слезает с воза. Медленно, по сену, вилы впереди, как будто нащупывает ими землю. Становится на траву. Топает ногой: проверяет. — Земля, — говорит он с облегчением. — Наша. Ну.

Он стоит, смотрит на меня, на дракона, на телегу. Потом надевает шапку.

— А на что тебе моё сено? — спрашивает он.

— Мне не нужно, — говорю я. — Честное слово. Это он придумал. Он, видите ли, думает, что меня надо развеселить. Сначала принёс овцу. Потом колокол.

— Колокол, — повторяет Фома. — С Михайловской часовни?

— Наверное. На холме, за рекой.

— Так это он! — Фома хлопает себя по коленям. — А у нас вся деревня ночью на ногах! Кто звонил да зачем! Поп выскочил в одном исподнем, с кадилом. А утром глядим — висит колокол. На месте. Только задом наперёд, ушами в другую сторону. Поп сказал — чудо. Знамение. Ещё собирался в город писать.

Я не выдерживаю и смеюсь. Дракон рядом ворчит в бочке, и Фома опасливо отступает на шаг, а потом тоже начинает хмыкать в бороду.

— Чудо, — говорит он. — Как же. Чудо зелёное, с хвостом.

Он садится на оглоблю. Достаёт из-за пазухи тряпицу, развязывает. Там краюха хлеба, луковица и щепоть соли. Он разламывает краюху пополам и протягивает половину мне.

— На-ка, — говорит он. — Ешь. Тощая ты. Как жердь.

Я беру. Он режет луковицу ножом, тоже пополам, и одну половину даёт мне, а другую, подумав, дракону. Дракон обнюхивает лук, чихает и отворачивается.

— Не уважает, — замечает Фома. — Ну и зря.

Я кусаю хлеб. И ем. Впервые за эти дни — ем, и это не глина, а настоящий каравай, кислый, ржаной, с луком, со слезами от лука, и я жую и не могу остановиться.

Фома смотрит, как я ем, и кивает сам себе.

— Ты, значит, та самая, — говорит он, когда я проглатываю последний кусок. — Которой нет.

Я замираю.

— В Подгорном на двери грамота висит, — продолжает Фома, ковыряя ногтем оглоблю. — Я в субботу ездил, видал. Мне читать не дано, но мне прочли. Княжна, со змеем. Дочери, значит, у князя нет. — Он глядит на дракона, потом на меня. — Ну, змей есть. Значит, и княжна, выходит, есть, хоть князь и говорит, что нету.

— Есть, — говорю я тихо.

Фома кивает.

— У меня тоже дочки нет, — говорит он вдруг. — Дуняша. Пять лет, как нет.

— Умерла? — Мне становится неловко, что я спросила.

— Да нет. Живая. — Фома хмыкает. — Замуж вышла. За бондаря из Кривой Балки, голодранца. Я ей говорил: не пойдёшь. А она: пойду. Я ей: тогда нет у меня дочери. Прямо на паперти, при всём народе. В шапке. Вот этой.

Он снимает шапку и смотрит на неё, будто она виновата.

— И что? — спрашиваю я.

— А ничего. Год прошёл — молчу. Второй — молчу. Старуха моя ревёт, а я молчу, я ж слово дал. При народе. На паперти. — Фома надевает шапку обратно. — На третий год у неё сын родился. Мне сказали. Я ночь не спал. А утром взял гуся, самого жирного, сунул в мешок — и в Кривую Балку. Двадцать вёрст пешком, с гусём. Гусь всю дорогу щипался.

— А она?

— А она вышла на крыльцо и говорит: ты, батя, чего? А я говорю: гуся вот. Принёс. Для внука. — Фома трёт нос рукавом. — Теперь я у них каждую Пасху. Бондарь этот, выходит, ничего. Бочки делает — загляденье. Мне вон кадушку сделал под капусту, сорок лет простоит.

Я сижу и молчу. В руке у меня остаток луковицы, и глаза щиплет, и я не знаю — от лука или нет.

— Отцы, они ведь как, — говорит Фома, глядя на реку. — Сперва орут. Потом бумагу пишут, на паперти кричат, чтобы все слышали, какие они строгие. Потом молчат, долго, гордость кормят. А гордость — она прожорливая, хуже свиньи, ей сколько ни дай, всё мало. А потом приходит день — и всё. Нету гордости. Есть гусь в мешке и двадцать вёрст. — Он поворачивается ко мне. — Ты не реви, девка. Твой тоже придёт. С гусём или без. Князья, они, может, гордостью потолще нашего, им дольше идти. Но придёт.

— А если нет?

Фома думает. Долго, честно, жуя губами.

— А если нет, — говорит он наконец, — значит, дурак. Хоть и князь. Прости господи.

Я смеюсь сквозь слёзы. Не могу удержаться — смеюсь и плачу сразу, и утираю лицо рукавом, тем самым, с одним вышитым крючком.

Фома встаёт. Отряхивает порты. Смотрит на свою телегу, на сено, потом на дракона.

— А обратно-то как? — спрашивает он. — Лошадь-то моя в поле осталась. А до дому вёрст восемь.

Дракон встаёт и расправляет крылья. Фома бледнеет и хватается за вилы.

— Нет, — говорит он. — Нет-нет. Я пешком. Ты, милок, не утруждайся. Я сам. Я сено потом заберу, с сыном. Ты только его не трогай больше, а? Пусть тут полежит. Под ветлой. Сухо тут.

Дракон смотрит на меня. Я качаю головой. Он садится обратно, явно разочарованный.

Фома уходит по берегу, бодро, не оглядываясь, — только у поворота останавливается, оборачивается и машет мне шапкой.

— Гусь! — кричит он. — Запомни, девка! Гусь!

И скрывается за ветлами.

Вечером я довышиваю рукав.

Крючки выходят сами. Один, второй, третий. Ромбик, а по краям маленькие руки, которые держатся друг за друга. Я вышиваю их до самого шва, и, когда отрываю нитку зубами, рукав у меня красный, тёплый, как будто его надели только что после бани.

Я рассматриваю вышивку при последнем свете.

Мамин узор. Мама говорила: крючки держатся за руки и никого чужого не пускают. Я вышила его сама. Значит, теперь чужие — это кто? И свои — кто?

Дракон лежит рядом, и я кладу руку с вышитым рукавом ему на шею. Красные крючки на зелёной чешуе.

— Ты как думаешь, — спрашиваю я, — он придёт? С гусём?

Дракон молчит. Даже не ворчит. Только прикрывает глаз, медленно, не так, как когда я ему надоела, а как-то иначе — так, будто ему самому что-то больно и он не хочет, чтобы я видела.

— Ладно, — говорю я. — Не отвечай. Я сама подожду.

Ночью я засыпаю, прижавшись к его боку. И впервые за пять ночей засыпаю сразу.

Платок я поправляю. Туго. Но, когда сон уже наползает, рука сама — честное слово, сама — сдвигает его с виска.

Мне стыдно признаться в том, что я почувствовал в первую ночь после площади. Признаюсь — иначе не стоило и начинать.

Я обрадовался.

Она сидела под ветлой, раскладывала мамины травы и не могла проглотить хлеб, а во мне — где-то под чешуёй, под рёбрами, глубже, чем умеет дотянуться совесть, — поднималось тёплое, сытое, довольное. Её больше нигде не ждут. Ни у матери, ни у отца, ни у брата. Вычеркнули, прибили к двери. Значит, ей теперь некуда идти. Только со мной.

Я поймал это в себе, как ловят за руку вора в собственном доме, — и узнал его лицо. Это лицо я видел двести лет в чёрном зеркале. Это я и есть. Тот, кто подпирал её дверь лавкой. Тот, кто вписывал имена в грамоту и говорил себе: расчёт.

Старик в ельнике добивался, чтобы ей не к кому было вернуться. Вышло по его. А я, оказывается, хотел того же. Мы с ним, старик и я, сидели над её горем, как два ворона над одной полыньёй.

Дракон стыда не знает. Ему было просто хорошо: она прижималась к нему всем телом, щекой, коленями, и он грелся её горем, как печкой. Мне пришлось держать его за горло изнутри, чтобы он не замурлыкал.

Потом она стала пустеть. Я чувствовал это раньше, чем увидел, — тепло из её ладони стало тоньше, как ручей в засуху. Она не ела, и мне нечего было брать, и я не брал. Я начал сереть и обрадовался снова, но уже по-другому: вот, мол, и расплата, так тебе и надо, ворон.

Ей хватило одного взгляда на пятна, чтобы съесть хлеб. Ради меня. Я лежал и смотрел, как она жуёт через силу, и мне хотелось провалиться сквозь берег в реку.

Овца была ошибкой. Колокол — тоже, хотя поп в Михайловском теперь пишет в город о чуде. Телега удалась. Мужик удался. Я не знал, что он скажет про гуся, — я ведь хватал первую попавшуюся телегу. Мне просто повезло: в этих краях, видимо, все отцы рано или поздно приходят с гусём.

Кроме моего.

А теперь главное, и я сам ещё не знаю, что с ним делать.

Когда Фома сказал «твой тоже придёт», я поймал себя на том, что хочу этого. Хочу, чтобы князь Владислав, гордый, глупый, с рукой, которая прорывает бумагу, надел шапку, взял гуся и пошёл. Хочу, чтобы её мать открыла ей ворота. Хочу вернуть её им.

Я — Кощей. Всю жизнь я забирал дочерей у отцов. Никогда не возвращал. Не хотел. Не умел.

Хочу. Не знаю, умею ли.

И, пока я лежал и думал об этом, она сдвинула платок с виска. Сама. Во сне — или почти. Будто ждала.

Я не стал человеком в эту ночь. Нельзя. Не после того, что я в себе нашёл. Человек, который радуется чужому горю, не должен подходить к ней с руками.

Я лежал и смотрел на её висок до утра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.